

4•1982

октябрь—декабрь

ИГНИ
КУЗБАССА



Этот номер выходит
со специальным
приложением



Г. Захаров. Ярославна.
Из иллюстраций к «Слову о полку Игореве»

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 34-й

№ 4(77)

В НОМЕРЕ:

СТИХИ

Валерий Ковшов. Истоки. (Отрывок из поэмы) . . . 3
Сергей Донбай. Соцгород. Городской двор 23

ПРОЗА

Геннадий Естамонов. Свое место. Повесть 4

ПРИТОМЬЕ

Творчество участников областного семинара
молодых литераторов

Евгений Богданов. Созрели вишни. Рассказ 26
Владимир Ширяев. Богиня. Дети в общежитии. В зоо-
парке. Письмо инженеру Сергею Климову, работающе-
му на БАМе. Стихи 31
Николай Калачев. Предновогодний рейс. Рассказ . . . 32
Татьяна Андреевская. «Здесь ни даты...» Стихи . . . 38
Сергей Побоккин. Скифы. Стихи 38
Виктор Корсуков. Гриня. Рассказ 39

Валерий Берсенев. Взрыв. После взрыва. Стихи . . .	43
Александр Катков. «Какая горечь — постоять...» «Это родина — синие ставни...» Стихи	44
Владислав Ксионжек. Полюби меня. Фантастический рассказ	44

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

Валентин Масленников. Уравнение со всеми известными	49
---	----

ВРЕМЯ — ЛЮДИ — СУДЬБЫ

Мэри Кушникова. Варюхинская персправа	57
---	----

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

Николай Карлагин. «Чтоб многое на свете полюбить...»	66
--	----

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

М. Коротков. Метеор	68
-------------------------------	----

На первой стр. обложки:

Фотоэтиюд Н. Карева «Зима».

Редактор Владимир Мазаев

Редакционная коллегия: Виктор Баянов, Сергей Донбай, Геннадий Емельянов, Валерий Зубарев (отв. секретарь), Владимир Куропатов, Владимир Матвеев, Валентин Махалов, Зинаида Чигарева, Геннадий Юров

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редактор В. П. Кравчук; технический редактор Г. Н. Манохина; корректоры Е. И. Тимощук, Е. А. Царева

Сдано в набор 6.08.82. Подписано к печати 22.10.82. ОП 07545. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,27. Усл. кр.-отт. 6,07. Уч.-изд. л. 7,22. Тираж 7 000 экз. Заказ № 13744. Цена 40 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

О $\frac{70500-46}{M145(03)-82}$ 82-4702000000

© Кемеровское книжное издательство, 1982

-152582- ✓
+

ИСТОКИ

(Отрывок из поэмы)



На земле, где живем,
есть могучие быстрые реки,
есть речушка, где рядом
стоит мой родительский дом,
есть река, словно детство,
с которым я связан навеки —
голубая дорога
с певучим названием Томь.

Слева — степь да стоянки
березовых рощ и околков,
слева вязнут овраги
в густой темноте тальника.
Справа — пихты и сосны
да редкого кедра осколки,
да вершины холмов,
облысевшие от сквозняка.

Справа — мертвая тишь
с буреломами лежек звериных,
беспросветная тьма
с немигающим взглядом совы,
молчаливые камни
на теплых и мягких перинах
из пушистого вороха
старой истлевшей травы.

Слева — старых селений
высокие прочные избы
с обязательной тропкой,
сбегающей прямо к воде...
Деревянные птицы
летят в кружевные карнизы
из ладоней искусников,
с детства искусных в труде.

Слева тянется к югу
тяжелая лента асфальта,
приближая к деревням
молву городских площадей,
приближая к заводам
ристалища птичьего гвалта
и свободу пространства,
так нужную жизни людей.
В середине — река,
чистокровная свежесть природы,
неизбывная тяжесть,
ушедшая в чрево глубин.
Ощущает рука,
прикоснувшись к стремительным
водам,
пульс родной стороны,
убыстренный движеньем турбин,



СВОЁ МЕСТО

Повесть

Я, по своему разумению, человек сельского склада. В город попал случайно, но пристроился, прижился, и хотя луга мне до сих пор снятся, но уже не ярко — травинка к травинке, — а сплошной зеленью, вроде ткани какой... Бывает же: ласточка-береговушка — вольная птица, а лепится в городе. Так, видно, и я...

Все началось с войны. Если б не она — гадина, сколько бы жизней по-другому сложилось! Подумать аж страшно! Да что и говорить, давно была, сколько воды утекло, сколько голов поседело, а из души все не выходит, хотя и у меня уж виски заиндевели. А я ведь войну мальцом встречал. Было мне в ту пору годов семь-восемь. С тех времен почитай работу всякую делаю. Сначала по малости в подпасках был, потом, когда подрос и мужиков в деревне совсем убавилось, ходить стал и в пастухах. Сам председатель колхоза звал меня Иваном Ивановичем (не Ван Ваныч — полностью выговаривал), уважение выказывал. Его на войну не взяли — болел туберкулезом, а поставили председателем (раньше-то он счетоводом был). Душевный человек и тихий, что ива плакучая, но характер имел. Колхоз в войну, с одними бабами, в передовых держал. Всегда обоз зерна из трех подвод сверх плана давал. Едут, бывало, подводы — на передней кумач с надписью: «Зерно — красноармейцам!» Спрашивали председателя: «Почему надпись такая?» А он отвечал: «А кто за нас воюет?»

Кумач за то время, пока шла война, отбелился весь, словно поседел, но председатель его не менял. А в день Победы произнес речь, вынул тот кумач, развернул. Я не упомянул всего, что он говорил, а только запали в душу слова, что побелело полотнище не от непогоды и времени, а от соли слез наших и пота. Еще велел председатель укрыть тем полотнищем, как знаменем, свой гроб. «Поди заслужил это?» — спросил он. Заплакали бабы, закричали, что жить ему сто лет и никакой смерти не отдадут его, глаза ей повыцарапают. Но, видно, знал он, как всегда, более других. Только начали пахоту, осиротил он баб своих. Нежданно, как в бою — наповал. Прямо на поле умер. Укрыли гроб его тем полотнищем, как и велел Селиверстов Парамон Аполлинарьевич. Трудно величался он, и звали его все Председателем.

Ходил он в очках, много кашлял, не пил, не курил. Родом он был из нашей кержацкой деревни, а в гражданскую войну — красноармейцем. Больше я о нем ничего не знаю, но память храню. Вообще-то я всех людей по имени, отчеству и фамилии помню, которые ко мне с теплом были, это, наверное, потому, что я с ними в мыслях будто с глазу на глаз говорю. Я так-то человек молчаливый, пока не разговарят, а вот в мыслях сам с собой беседовать люблю. А чтобы все было по-настоящему, я в разговор с собой беру желательных сердцу моему людей. Так и зачинаются они на всю жизнь.

В деревню меня привез Иван Култаев. Это я уже после узнал. Был он из переселенцев, а может, из ссыльных, кто как говорил. Но в жизни ему не повезло. Почти до сорока лет с женой без детей жил и потому, говорили, пил он сильно. Но пил не каждодневно и даже не по авансам и получкам, как говорят сейчас, а лишь весной. Казалось бы, какая пьянка крестьянину весной? Но он пил, гонял свою бабу, шумел на деревне, валялся в лужах и на солнышке. Пьянка, даже сезонная, к добру не ведет. Кончалась она каталажкой, куда увозил его участковый милиционер.

Хата-развалюха, в которой хороший хозяин скотину не стал бы держать, и с каждым годом все более зарастающий репьем огорожок — вот и все култаевское хозяйство. Голь перекатная. Но имел Иван Култаев золотые руки: сани-розвальни ладил, телеги, легкие брички и кошелки, дуги гнул и мужикам для охоты лыжи, сети вязал и невода, плел морды и корзины, клал печи. Да что он только не умел! В золоте бы ходить с такими руками... но, верно, не в коня овес.

Возвращался из кутузки Иван хмурый и стыдливый. Месяц отходил — ничем не занимался, валял дурака. Потихоньку веселел, добрел, жалостливее делался к жене и нет-нет да принимался за какую-нибудь работу. Потом, будто сдохнув, свирепствовал в делах. Работал даже ночью, если не успевал что-то закончить днем. Вот тогда-то к нему и бежали с заказами. Култаев не торговался, цену брал ту, что давали, и работу делал либо-дорого.

В такие дни вдруг умерла жена. Выбрала тоже времечко! Иван убивался, но не пил, потом вдруг, собрав деньжат, отбыл, как сказал, в город на недельку. Посмеялись мужики — до города-то недельку только добираться в один конец, и то если с парходом повет. Посмеялись, подивились, но поверили: свое главное богатство, инструмент, Иван оставил в деревне. Вернулся он через месяц с мальчиком, тоже Ваней. Это и был я. Култаев сказал, что привез племянша. Жениться он больше не думал, видно, и мы зажили вдвоем. Дядя Ваня весной не запил, и раз-

говоров по этому поводу хватило на целое лето.

Со времени, как я очутился в деревне и помню себя, будто до этого нигде не жил, будто в ней родился. Помню, как упоительно долго пахли сосновые щепки — дядя Ваня ставил новый сруб; притягивающе-неприятную горечь осинового коры, которую почему-то мне хотелось жевать; сквозную белизну снежных гор, с которых я катался с ребятами на маленьких саночках-розвальнях, смастеренных мне дядей Ваней. Все тогда было каким-то душистым и мягким...

Дядю Ваню звали в колхоз: мол, теперь, когда бросил пить и буянить, пора и за ум взяться. Хватит единоличничать. Но он улыбался, а в колхоз не шел.

Не успели мы с ним всласть похозяйствовать, как однажды причалил к нашему берегу небольшой пароходик с баржой — война разом ударила в нашу деревню, будто с того берега. На нее брали всех без разбора — и колхозников, и единоличников.

Когда баржа непослушно и медленно стала оставлять берег, я узнал, что я — сирота и дядя Ваня никакой мне не дядя Ваня, а приемный отец, и я ему закричал: «Папка, возвращайся! Скорее!..»

Не знаю, услышал ли он мой голос в общем воле, наломанном и жалобное мычание коров, и разгульные крики пьяных.

Мой отец, Иван Дмитриевич Култаев, не вернулся с фронта. Он не погиб на ней смертью храбрых. Просто пропал без вести.

В тот день, когда я узнал об этом — а я уже тогда жил у матери нашего счетовода, — я стал сразу взрослым, и только во сне: саночки-розвальни, улыбочное лицо отца и белые горы — уснувшие лебеди.

Тетка Евдоха, молчаливая и злая старуха, не выпускала меня из избы до ползими. То ей подай, то ей принеси, то ей сделай. И я делал все, что она приказывала. Она не любила всех людей, а меня больше всех. Даже старушек, которые к ней приходили слушать обтрепанную, почерневшую (как сами старушки) книгу о житии святых, она не любила. Так строго читала непонятную книгу,

словно ругалась. И мне казалось, будто ругается на меня — впрок. Высокая, прямая, как высохшая лебеда, она голос басовитый свой подавала лишь тогда, когда молилась или читала книгу. Приказывала мне взглядом, и понимал я его, как умная собака. Любила она только одного бога, даже своего сына, счетовода Селиверстова, знать не хотела. Тогда он еще не был председателем, потому как председатель, который сказал о моем отце, что без вести пропадают только такие, еще сам не был взят на войну и не пропал еще без вести. Так вот, Селиверстов принес мне обутки — старые подшитые катанки — и сказал: «Чтобы вы, мама, отпускали его (меня) в школу». Она смотрела куда-то мимо сына, как сквозь стекло, и молчала. Тогда счетовод сказал ей тихо, что он сразу бы взял мальчика к себе, если бы не болезнь.

Тетка Евдоха велела мне ходить в школу. Просто глянула на дверь, и все.

В школе была одна учительница и мы, почти сорок гавриков. С виду один класс, а оказалось, что все учатся в разных: с первого по четвертый. Со мной учительница поговорила и сказала, что я буду учиться в первом. Четыре зимы я ходил в школу, когда не был на работе, и числился во втором классе. К учебе я был неспособным и давно бы перестал ходить туда, но мне очень нравилась наша красивая, беленькая, молоденькая учительница. Голос у нее что пенек скворца — хотелось слушать, ни о чем не думая, радоваться и смеяться. Я иногда тихонько смеялся. Учительница подходила, гладила меня, что-нибудь спрашивала или говорила. Я только улыбался: вот так бы гладила она голову мне подольше, и ничего не надо. Но она скоро отходила от меня и говорила уже другим голосом. Мне становилось грустно, так, что хотелось плакать. И слезы бежали незаметно, как березовый сок по стволу, только соленые.

Спасибо заботам нашей учительницы. Только она могла научить такого, как я, читать, писать, считать. Считать я не любил, писать было некому, а книжки мне нравились, особо картинки в них, и она разрешала приходить к ней домой и смотреть книги.

Тетка Евдоха умерла через неделю после кончины Председателя. Выходит, было у нее сердце, коль не пережила такой утраты. Она как упала на гроб сына, так больше не поднялась. В день смерти тетка Евдоха поманила меня, долго смотрела и вдруг первый раз сказала мне просто:

— Остаешься, Иван, ты один. Живи, как Парамон Аполлинарьевич. Не обижайся на людей. Не пей, не кури. Павенчай нас.

Потом она велела кликнуть старушек, а самому пойти к учительнице. Я поцеловал ей руку, которой она перекрестила меня. В дверях оглянулся, на меня смотрели понимающие и грустные глаза Парамона Аполлинарьевича Селиверстова. Я выскочил на улицу и тихонько замычал.

Остался я в родной деревне без родных. Все бы ничего, да деревня-то наша малопомалу расплзлась, хирела, как дом без хозяина. Зачернели избы заплатами забитых досками окон.

Сначала ее покинули лесорубы. Деловой лес еще в войну повывели на десятки верст кругом. Леспромхоз давно отключал в другое место, и вот снялась последняя бригада. Лесорубы не колхозники, а все ж какое-никакое население, и своим присутствием оживляли деревню.

Ребята шли в армию и в деревню больше не возвращались. Девчата выходили замуж за лесорубов, за геологов, все чаще и чаще появлявшихся в наших местах, ехали учиться в города — короче, любыми средствами, только бы вырваться из умирающей деревни. Паспортов не давали, и бежали молодые правдами и неправдами. Закрылась школа — некого стало учить, а учительница наша, Екатерина Петровна, пересехала в другую деревню, где организовали совхоз и была семилетняя школа. Она звала меня с собой, и я было собрался, но потом передумал. А вдруг батя Култаев явится. У меня еще жила надежда, что не сгинул он навсегда. Ведь вернулся же давнишний председатель, когда-то пропавший без вести. Оказывается, был он в плену, а потом еще где-то. Пил он теперь

почти ежедневно. Шатался по деревне, бездомный, грязный, оборванный, постаревший, и крыл матом всех подряд, даже тех, у кого только что выклячил кружку браги.

Инструмент отца моего Ивана не заряжал, смазал его отец перед уходом, тряпьем обмотал. Я иногда открывал ящик, трогал одно, другое, а виделся мне папка над бревном, легко и весело махающий топором, или у верстака с рубанком — каждое движение его запомнилось. Пришла мне мысль самому попробовать. С топором, шилой обращаться проще простого, а вот с другим загадочным инструментом — не получается ничего. Спасибо Парамону Анолиниаревичу, увидел как-то мои мучения, стал показывать иногда, как рубанок держать, стамеску, потихоньку со всем инструментом познакомил. А за плотничьими и столярными секретами к старикам посылал. Те не таили их и всегда вспоминали Ивана Култаева. Вот кто в этом деле «собаку съел». Мне нравились такие разговоры.

Не объявился отец, а мне время подошло в армию. Повестка пришла на меня. Прочитал я и очень удивился, что обо мне районный военный комиссар знает. Подошел с ней к дядьке Голомидову, тому самому, который все дом свой подправляет. Показал повестку, объяснил ему, что и как, и осторожно поинтересовался:

— Говорят, дядь Евсей, магазин вроде закрывать будут.

— Пусть закрывают, — сказал он совсем равнодушно, — а я от своей старухи никуда.

Старуху свою, Голомидиху, он схоронил уж, люди, лет десять назад, еще в войну. Сыновья у него, их четверо, кто где, но старший, Савелий, в совхозе, в другой деревне. Звал отца, но дядька Евсей отмахнулся.

— А колхоз закроют? — начал я с другого конца.

— Разве амбар закроешь, коль потолок обвалился, — сказал и грустно усмехнулся. — Деревню-то не закроют.

— Могут и деревню-ю, — протянул я неуверенно.

— Нет, брат, деревня и после нас еще будет жить, — привстал и палкой показал на пригорок, на кладбище, — пока вон те холмики не скроет.

— Чем скроет?

— Что ты мне душу тянешь? — огорчился неожиданно дядька Евсей.

— Да я к тому, дядь Евсей, — виновато помолчал, потоптался и враз брякнул, — если батяня мой, Култаев, возвратится вдруг, скажи ему, что я в армии. Инструмент его целехонький. С собой, мол, сын забрал. Ну и все такое...

Крякнул дядька Евсей, пошарил по карманам и сказал:

— Погодь-ка. За махрой схожу, кисет дома оставил, епшь-твою!..

Голомидов, загребая ножищами, легко нес свое птичье тело с большими руками. Странный дядька. Деревня разбегается, а он недавно покрасил голубой краской ставни окон. Обновил сруб колодца. Сын зовет к себе, внуки, а он сторожит свою бабку и все что-то копается вокруг дома, что-то делает, будто в доме том собрался жить еще сто лет...

Дядька Голомидов постучал меня палкой по плечу.

— Заснул никак? На-кось, возьми. — Протягивает мне почти новешенькие яловые сапоги.

— Не, дядя Евсей, — отказываюсь, а у самого руки сами тянутся к сапогам, — за что такое богатство-то?

— Мерй! Отказаться успеешь. Вон дубина какой, — сказал дядька Евсей с одобрением. — Но меня ножками бог тоже не обидел... Должны влезть.

Я притопнул ногой.

— Враз? — обрадовался дядька.

— В аккурат. В аккурат. Даже и не знаю, за что мне?..

— Вот и носи! До смертного часа берег, а тебе ж в армию. Вот и хорошо. — Дядька Евсей ходил вокруг меня и осматривал, как жеребца на подковке...

Дядька Голомидов растрогал меня своим подарком до слез. Хотелось сказать ему что-

нибуть от души, а я твердил одно и то же: «Будь здоров, дядь Евсей!».

На могилки я пошел, как в гости: в белой рубашке, в сером хлопчатобумажном пиджаке. Изрядно заношенные штаны портили вид, но зато чего стоили яловые сапоги! Они одни придавали мне уверенность и необычную самостоятельность. Я степенно обошел все кладбище, усердно прочитал на крестах имена упокоенных и только тогда остановился у могилки тетки Евдохи и Парамона Аполлинарьевича.

Высокая трава тянулась из-за оградки. Разросшиеся кусты малины белели плодоножками осыпавшихся ягод. Жужжала занутившаяся в паутине муха. На ветках у самой земли копошилась и попискивала какая-то птичка, и казалось, будто спрашивает она: «Кто ты? Кто ты?»

Я им не чужой. Покидаю надолго, может, навсегда. Все зависит от бабки. Когда вернется и куда позовет жить...

Добираться до района верст шестьдесят по санной дороге, а летом, кружным путем, за сто перевалит. Время было, и я надеялся дня за два к месту дотопать в таких удобных сапогах. В них даже по болоту можно.

Но мне повезло. На пристани у нашей деревни загружался дровами пароход. Я стал помогать матросам в погрузке. На перекуре мне велели подсаживаться поближе. Табачком угощали. Отказался. Тетка Евдоха настрого заказывала, да и не люблю это зелье.

Раньше-то, когда пароход подходил к нам, полдеревни на берег высыпало. Шум стоял, смех, гам. Гармошка обязательно играла. Матросы с деревенскими девочками кавалерничали. А парни наши задиристые снисходительно поглядывали.

Погрузку закончили. Спрашиваю:

— В район до соседней пристани довезете? Задарма?

— Почему не довезем? Довезем. Ты проезд свой отработал,— хлопнул меня по плечу здоровенный мужчина, весь черный. Глаза блестящие, и зубы белым отливают.

— Спасибо,— говорю и тоже хлопаю его покрепче.

Он в сторону качнулся, но удержался на ногах. Матросы засмеялись.

— Ничего-о!— протянул, смеясь со всеми, черный.

Я стоял на палубе и смотрел, как удаляется родной берег. Он словно отодвигался от меня, медленно, нехотя. Схватиться бы за кусты черемухи над водой и если не остановить это неувольное удаление, то хотя бы замедлить его... А пароход выходил на стремнину, ускорял движение, и прежде чем скрылись из глаз родные места, я увидел, как черемуховые кусты легли на воду, слились с ней, превратились в темную полосу, скользящую от меня.

Внутри, куда позвал меня Платон (так звали веселого кочегара), все ходуное ходило, гудело, дергалось. Особенно меня поразили две махины железные, вроде оглоблин, однако потолще. Они сновали туда-сюда, попеременно одна другую обгоняя. Здесь было на что посмотреть, у меня от интереса и озноб прошел, и родной берег перед глазами перестал маячить. А Платон вниз тянет, на свое место, в кочегарку.

Внизу гул сильнее, но огромная железная печь по-своейски успокаивала. Пламя, бушевавшее там, пожирало дрова, как солому, и Платон то и дело открывал дверцу топки и подбрасывал новые поленья.

Он стал рассказывать про котлы, давление, пар. Я послушал некоторое время и, хотя Платон показывал свое хозяйство не без гордости, остановил его:

— Не надо. Я же не пойму. Зачем голову забивать?

— Думал, интересно будет,— сказал он разочарованно.

— Интересно,— согласился я,— но я лучше посмотрю.

— Как хочешь,— протянул он равнодушно. Я примостился в сторонке, чтобы не мешать, и стал смотреть.

Платон делал вид, что не замечает меня, легко, как снопы, бросал полутораметровые чурки в топку, ловко захлопывал дверцу, в которую мог бы запросто вползти на четвереньках человек. Смотрел на прибор, похожий, на плоскую консервную банку, с дро-

жащей под стеклом стрелкой, говорил сам себе:

— Давленьице нормальное, Платон. Можно перекурить.

Закуривал, приваливался к поленице, но немного погоды подхватывался, хлопая себя по голове.

— Баада, а водички кто будет добавлять в котлы? Платон, ну смотреть же надо, — говорил он укоризненно и крутил какие-то маленькие штурвальчики.

Когда он сделал все, что было необходимо, вдруг спросил, подмигнув мне лохматым глазом:

— Ну, а теперь можно выпить с нашим гостем? Чайку, чайку! — И, смеясь, вытащил откуда-то горячий чайник. Достал сахар, хлеб и селедку.

На службу в армию попасть оказалось не просто. Это не на войну. Как тогда в деревне: стройся, шагом — арш. И все. Нас, призывников, окружила целая бригада врачей. В белых халатах, чинные и, сразу видно, все умные. Один толстенький, пожилой, но еще розовый, как только что рожденный поросенок, обстукал меня всего, обслушал, прощупал и тоненько пропел в знак одобрения:

— Здоров, как бык!

Я, улыбающийся, но все еще сердитый — меня почти силой заставили при женщинах наголо раздеваться, — направился к той, у которой на лбу круглое зеркало. Она усадила меня и давай глаза раздирать, чтобы глубже посмотреть. А что смотреть? В глаз, как в колодец, смотри не смотри, дна все равно не видать. Хотел я ей сказать об этом, но раздумал, очень уж она была серьезна и деловита. В уши смотрела и велела их прочистить, потом что-то сказала, отошла в сторону и давай шептать слова разные, будто разговор какой делала. Мне стало интересно, смотрю на нее во все глаза и улыбаюсь. Врачиха перестала шептать и спрашивает:

— Вы что, совсем глухой?

— Я-то глухой? Да я в деревне по голосу любую корову мог отличать. Даже спорил об этом не раз и всегда выигрывал...

Она нетерпеливо выслушала меня, но лицо ее чуть-чуть подобрело, и она даже сделала подобие улыбки.

— Хорошо, хорошо. Тогда повторите за мной.

Стал повторять, а сам одно ухо затыкаю пальцем, потом другое. По лицу вижу — довольна. Потом указкой стучит по бумаге на стене и говорит, чтобы я буквы называл. А я вижу только две верхних «Шэ» и «Бэ» — другие расплылись, как на промокашке, — и молчу.

Врачиха нетерпеливо стучит:

— Называйте буквы.

— «А», «Бэ», «Вэ», «Гэ», — начал я по алфавиту.

Она вдруг как гаркнет:

— Капитан, идите сюда! Здесь ваш призывник придурается.

Подшел капитан, а врачиха продолжала:

— Сначала притворялся глухим, а сейчас — слепым.

Я перестал улыбаться, рот открыл и забыл даже, что голый. Капитан посмотрел на меня и говорит:

— Ты что же, сокол?

— Хоть зарежьте, — развожу руками, — но я, вот те крест, ничего не вижу. Только «Шэ» и «Бэ».

Тогда врачиха мне напялила на нос очки и давай стеклышки в них менять. Она даже вздрогнула, когда я радостно закричал:

— Во, в ажурат! Все вижу, даже малюсенькие, вон те! Чудеса!

Капитан покачал головой и говорит осуждающе:

— Что ж ты, богатырь, глаза-то не убеер? Один такой великан на весь район, можно сказать. Эх-а!

От чего их беречь, может, я таким слепшарым уродился? Один — низкий, другой — высокий. За что корить? Повел он меня к другой врачихе, а лицо печалилось. Та, к которой он меня подвел, черноволосяя, нос с горбинкой, сама вся сухощавая, говорит мне:

— Руки-то опустите.

От ее слов я испариной покрылся. Сдурела баба совсем.

— Опустите руки! — повысила голос и как шлепнет железной линейкой по ним.

— Ни стыда, — кричу ей, — ни сраму! — А сам сквозь слезы ничего не вижу. Да так и лучше.

Мне велели одеться, принесли какого-то лекарства, я выпил, пришел в себя, снова стал улыбаться и уже без обиды смотрел на врачей.

После этой комиссии меня отравили в область на другую. Я не хотел уезжать в город. Говорил, что если в армии не нужен, лучше в деревне остаться. Батка еще должен вернуться.

Я так верил в это...

Приехал я в город и ужаснулся: народу-то, народу-то, что лечи в улье. Не скажу, что я совсем темный — раньше слышал об этом. Но одно дело — слышать, другое — видеть собственными глазами. Сьюлько же деревень снялось с места, чтобы заполнить его? Чем они тут занимаются? Ну, заводы само собой. А остальные? Полей нет, скота никакого не видно. Редко замызанная лошаденка протарахтит телегой по булыжной дороге. Вот каменная дорога мне понравилась. Отлично придумали — износу нет и грязи. А асфальт — и говорить нечего; снимай обувь и шлепай босиком, особенно, наверное, хорошо после дождя.

И все-таки решил я, если не подойду армии, побегу отсюда хоть пешком. Лучше в другой деревне жить, чем здесь толкаться. Никакого простору, глаз в каменные дома упирается, как в крутую гору. Небо — и то кусками. Деревьев мало: по веточке если раздать — не всем в городе хватит. Машины часто бегут, словно друг за другом гонятся. Но это только на первый взгляд, на деле же они милиционеру подчиняются, что на перекрестке стоит и палочкой им путь указывает. Так у него ловко получается, четко. Залюбовался даже и самому очень захотелось постоять на месте милиционера. Развернется по-военному, вытянет руку: следуйте туда. Все машины ему подчиняются. Стою, люблюсь, а сам у прохожих спрашиваю, как мне

добраться до места. Один не знает, другой плечами пожал, а третий говорит:

— А вон у милиционера спроси!

«Точно, — думаю, — как я сам до такой штуки не докумекался». И пру прямо к нему через дорогу. Он засвистел, движение затормозилось. Милиционер руку под козырек (палочка у него свесилась на петле — как ручка бича) и так вежливо спрашивает:

— Вы что, товарищ, из деревни?

Я улыбаюсь во весь рот:

— Ага. Может, земляк?

Он пропустил машины, порылся в кармане, достал тонюсенькую книжечку, в два листа, и тянет мне.

Я говорю, что у меня нет времени книжечками заниматься, надо вот по этому адресу попасть. Показываю ему бумагу из райвоенкомата.

Он сразу смекнул, в чем дело. Засвистел, и тут же появился другой милиционер.

— Уведи, — говорит тому, — моего земляка, работать мешает. Да котомку проверьте...

Вот те на! Работать мешаю, а еще земляк. «Котомку проверьте...»

И все равно я вспоминаю того милиционера с приятнью. Помог он мне. Сейчас, когда на всех перекрестках появились светофоры (лучше, слов нет), думаю с грустью, что милиционер-регулировщик был все-таки на месте. Какую-то значимость придавал он своим присутствием. Порядку больше было, аварий — меньше...

По дороге молоденький милиционер, чуть не по пояс мне (и как таких в милицию берут, наганы доверяют?), говорит:

— Если вздумаешь бежать, стрелять буду без предупреждения.

— Я что, дурак, — отвечаю ему, — куда мне бежать-то? Ты знаешь, сколько до моей деревни верст? Не знаешь. К тому же я сейчас по военному назначению следую. А в котомке у меня батки Култаева инструменты...

В милиции меня спрашивают:

— Фамилия?

— Иван, — говорю не думавши. Не часто ведь мне приходилось в милициях бывать до

этого. Смотрю с интересом, все запоминаю, может, в деревне рассказать придется.

Милиционер, у которого на погонах три полоски, улыбнулся, серьезность у него пропала, и стал сразу молодым и свойским.

— Имя. Отчество.

— Култаев. Сын Ивана.

Он закурил, снова улыбнулся и говорит ласково:

— Вы что мне, дяденька, голову морочите?

— А я не морочу. Вот бумаги, там все написано.— Улыбалось, достаю из штатин бумаги: от председателя, который дал мне бумагу с печатью, и сказал: «Вот те Ванин, вольная. Только жаль, что она дураку досталась». Это он меня за то, что я его за председателя не признавал и сказал как-то при народе: «Разве ж это председатель? Пьянчуга. Парамон Аноплингарьевич — Председатель!» Он зло мне: «Твой председатель сгнил давно, полудурок». Я ему: «Это ты сгнил, вонь от тебя хуже, чем от паршивой скотины. Навоз и то лучше пахнет...»

Просмотрел мои бумаги милиционер внимательно и говорит:

— Ну вот что, Иван Иванович, фамилия у тебя Ванин, а не Култаев, в остальном же все в порядке. А в котомке? — кивает.

Я говорю:

— Так председатель записал от незнания. В деревне Ваниным звали. А Култаев ли, сын Ванин ли — разницы мало. Его я сын, им и останусь — как ни назови... А в котомке его инструмент, — показываю.

— Так-то оно так, — смотрит с интересом батькин инструмент и предлагает закурить.

Я мотаю головой, нет, мол, уволь.

— Правильно! Гадость, а вот присушила, как ласковая баба. Мочи нет отвязаться. Утром бухаешь, бухаешь. Думаешь: ну все, брошу. А днем снова пачку, как сиську шарить. Найдешь, аж на душе полегчает.

Я слушал милиционера, улыбался, кивал головой. Стыковался по новым людям, вот и рад отвести душу с хорошим человеком. А может, рад больше, что не бандюга я какой.

Милиционер куда-то названивал, с кем-то говорил то ласково, то сердито, даже грозил-

ся. Когда положил трубку, аж вспотел, закурил и сказал.

— Вот и все, Иван Иванович! Через полчаса машина за вами будет. По городу с шиком промчитесь!

Не спросил я милиционера, как его звать-величать, обязательно бы запомнил.

Областная комиссия оказалась совсем не такой, как в районе. Просто больница. Три дома. В один из них, двухэтажный, поселили меня. Номыли, переделали, отдельное место — койку мягкую отвели, будто хорошему начальству. Нянечка сказала: устраивайся. Что тут устраиваться? Покачался на койке с опаской, пружины поскрипывают, но держат прочно. Сделаны на совесть. Пошел посмотреть отделение: по коридору цветы в горшках, пол гладкий, точно молодой лед. Рукой потрогал — приятный на ощупь, но не деревянный, потом сказали: липолеум. По такому полу не только ходить, ползать жалко. Уборную посмотрел — тепло, как в бане, сиди и гляди на снежно-белую, блестящую плитку, которой стены выложены. Жизнь!

День живу, другой — никуда не вызывают. Кормят вкусно, спать мягко, а на работу не посылают. От такой жизни лежебокой недолго стать.

На третий день засуетились нянечки, сильно, но заметно: что-то будет. Может, комиссия? И верно, только она обходом здесь называется. Врачей — человек пять-шесть в спальню-палату пришло. Разговаривают меж собой, улыбаются, спрашивают больных. Подошли ко мне, а мне они уже все нравятся. Особенно белокурая, с нашей учительницей чем-то схожая. Она у меня и спрашивает:

— Ванин? Иван Иванович?

Я улыбаюсь во весь рот, больно она мне понравилась.

— Да, — говорю, — он самый. Как вы узнали?

Она смеется:

— По росту, по фигуре. Просто богатырь! А на Руси что ни богатырь, то Иван.

Почесал я затылок: хочется сказать что-нибудь такое, подходящее, а слов таких на ум не приходит, и вдруг вспомнил:

— А у нас в деревне говорят: что ни Иван, то дурак.

— Напрасно говорят,— врач старалась быть серьезной, но глаза у нее смеялись,— а если говорят, то, думаю, не по злобе. Ну, а как вы себя чувствуете?

— Здорово! Как бык.

— И нравится вам у нас?

— О,— улыбаюсь,— очень! Добрые все тут и вот, видать, вы, простите,— говорю,— не знаю, как вас звать-величать.

— Валентина Александровна Малипина. Я буду вашим лечащим врачом. Со всеми вопросами обращайтесь ко мне. Не бойтесь. В любое время, когда я в отделении. Ясно?

— Ясно, Валентина Александровна. Только лечить меня зачем? Я ж здоров! А что ума невелико, так ведь никто уж не прибавит.

Врач меня внимательно слушала, с интересом. К людям, видать, уважение имеет, а как замолк, она говорит:

— Такой порядок. Нам надо вас проверить. Заключение в военкомат дать.

— Тогда,— говорю,— дайте мне какую-нибудь работу — хлеб зазря совестно есть. Сколько будете держать — столько и работать буду. Могу двор убирать, могу по столлярному делу. Хотя что — лишь бы сиднем не сидеть.

— Хорошо, работу мы вам найдем, а будете вы у нас месяц-полтора. Только я с вами сначала побеседую.

— Валентина Александровна, беседуйте не беседуйте, а выпускать меня на улицу можно. Бежать-то мне некуда, деревня за сотни верст, а город чужой. А я дорожки подмету, в чем другом подсоблю.

Назойливостью своей я сломил недоверие врача.

— Хорошо,— сказала она и обратилась к сестричке,— Валентина Дмитриевна, запишите Ванину свободный выход.— Кивнула мне, улыбнулась и отошла к другим врачам.

Повеселел я совсем, жизнь моя пошла, как на курорте. Встаю рано, дорожки мету — листвой их засыпать стало, вокруг корпуса весь мусор собрал. Давай дальше прибирать,

у других зданий порядок наводить. Один раз мужчина, представительный такой, остановился, понаблюдав за моей работой и спрашивает:

— Вы давно у нас работаете? Как фамилия?

— Иван Ванин... Недавно работаю.

— Хорошо, товарищ Ванин, работаете. Территорию свою не узнаю, как горницу прибрали.

Приятно мне стало, чего греха таить, люблю, когда меня похвалят.

— Спасибо,— говорю,— разве ж это работа — баловство. Вот навоз лопатить — потно! Сенокос — ноги любит...

— Все равно, молодец! Каждый на своем месте должен относиться к работе, как вы.

— Во, и я так думаю! Человек не на месте портится. Вон председатель в нашем колхозе, когда был в районе — человек как человек, правда, и тогда понукать любил. Но все-таки был на своем месте. А председателем поставили — испортился. Пить стал, ругаться, кричать без надобности, к бабам лезть...

Валентина Александровна вызывала меня несколько раз, разговоры вела, жизнь мою интересовалась, а как-то под конец беседы спросила:

— Почему вы, Иван Иванович, всегда улыбаетесь?

— Ну как же, Валентина Александровна, не улыбаться, когда так хорошо кругом. Я и в деревне улыбался всегда, как подросток. Там тоже жизнь была хорошая. Но, бывает, и плачу. Жизнь вроде та же, а плачется. Вроде жалко кого. Иногда плачу во сне. Иногда днем — по батьке. Он без вести на войне пропал. Вот кто работу свою умел делать. Поверите, Валентина Александровна, он одним тоном в два счета ложку деревянную делал. Как вы думаете, он вернется?

Она стала сразу серьезной, даже строгой. Долго о чем-то думала, потом, словно спохватившись, быстро сказала:

— Идите, Иван Иванович, отдыхайте.

Позже я узнал, что у Валентины Александровны отец тоже пропал без вести на войне.

В середине ноября подули зимние ветры. Колочий снег сек лицо. Небо, будто от страха, прижалось так низко к земле, как у нас потолок в деревенском коровнике, где я набил не одну шишку, пока научился ходить, пригнув голову. Вот и люди шли, пригибаясь, словно боясь стукнуться головой о тучи. И меня тревожило приближение зимы. Скоро должны выписаться из больницы. А куда податься в это время? Город чужой, ни родных, ни знакомых. До деревни добраться можно только паромом, а они уже, наверное, не ходят...

На работу сказали сегодня пока не ходить. Я бродил по коридору, поглядывал в окна и был сам не свой. В это время меня позвала Валентина Александровна. Так просто сказала: — Ваня, зайди-ка ко мне.

Внутри все похолодело. Обычно она называла меня Иван Ивановичем и всегда на «вы». Все. И у меня замутило, завихрило в голове, как на улице.

Валентина Александровна приветливо улыбнулась, но улыбка не обрадовала меня.

— Вчера, Ваня, была комиссия. Ты признан годным к нестроевой службе в военное время. Так что можешь отправляться в свою деревню. Заключение комиссии мы перешлем в военкомат сегодня, там ты получишь документы. А чтобы было наверняка, дней через пять мы тебя вышлем... Она внимательно глянула на меня. — Ты что, опять кого-то жалеешь?

— Нет, — прошептал я. — Как добираться-то? Летом бы я пешком...

— А ты можешь подождать до лета... Заверяющий согласен принять тебя дворником. И уже с ним разговаривала. Теперь надо только твое согласие.

— Голубушка вы моя, Валентина Александровна, — засмеялся я сквозь слезы, — сто раз согласен! Я бесплатно буду работать. Все, все буду делать. И по столярному могу, у меня и инструмент есть...

— По столярному пока не надо, а дворником если будете работать, оклад будет. Бесплатно никто не работает.

— Работают! — совсем развеселился я. — Еще как работают!

— Ну ладно. А с жильем мы, Иван Иванович, что-нибудь придумаем.

С жильем обошлось все как в сказке. В отделении работала санитаркой Мария Ефимовна Слуцкая. Узнала она, что я остался в больнице дворником, так сразу и предложила у нее квартировать. Женщина — не унывающая, шутица, мне не раз приходилось помогать ей в дежурстве: мыть полы, поливать цветы, словом, делать все, что попросят. К полуночи санитарки заканчивали свои дела и садились чаевничать. Всегда меня приглашали, и я не отказывался. Мария Ефимовна была кренкая, подвижная, привлекательная и имела все, что положено иметь женщине. Только глаза у нее были грустные.

Домишко небольшой: маленькая кухня и комнатка. Она привела меня, показала свое хозяйство и сказала:

— Баба я одинокая, иногда что будет надо подсобить — подсобишь. За жилье буду брать столько, сколько дашь. Койки разделяются занавеской, так что тебе останется оконце и мне. Ты мужик спокойный — не кусаешься; а я коль укушу — стернишь, бугай здоровый.

Она захохотала громко и беспечно, совсем как девчонка, и ущипнула меня.

— Да, дела, — промычал я.

— Что тебя пугает? Баба за ширмой?

— Да нет, Мария Ефимовна, баба меня не пугает. Пугает, что вы любите выпить. А я не пью. Икота мучает.

— Ты что, старовер или баптист?

— Не-е, не баптист я! Но не могу, и все.

— Уговорил, — засмеялась она, — пить буду на стороне, — и вдруг зло добавила, — пошел ты на хрен! Уговаривать буду еще! Хошь — живи, хошь — валяй.

Я поспешно согласился на все ее условия.

Месяц я работал и радовался. Дела свои делал быстро, потом помогал на кухне — поднести картофель, овощи из хранилища, поднять продукты, помыть бачки: я ни от чего не отказывался и скоро стал в больнице своим человеком, каким был в родной деревне. Со мной здоровались приветливо, по им-

мени-отчеству называли, интересовались житем. А что больше человеку надо? Вот и радость во мне жила, как птичка в гнезде. Время у меня еще оставалось, и я изредка ходил в город, больница-то наша была на окраине. С интересом рассматривал дома; пышущие жаром, паром и дымами, гудящие заводы. Город я исходил пешком и понемногу стал узнавать его.

Заглядывал в магазины — глаза разбежались от всякого богатства, но деньги не тратил. Иногда я позволял себе покататься на трамвае и съесть мороженое. Ходил я всегда неторопливо, но около мороженщиц и вовсе тихо, кружил рядом, как лиса возле стога. Наконец, не выдержав, брал одно, другое, третье, спохватывался, но прежде чем удержаться от расходов, успевал съесть еще два-три. Это такое лакомство! Не пойму, как люди могут бегать мимо, не обращая внимания! До сих пор не могу равнодушно смотреть на мороженое.

Ходил в кино, для меня все еще чудо, хотя к нам в деревню раз-два в месяц приезжал киномеханик. Я всегда долго раздумывал, чем себя порадовать: кино или мороженым.

Успевал я делать и дела по дому: принести воды, наколоть дровишек, насыпать в углярку угля, растопить печь, накормить двух кабанчиков. В свою очередь Мария Ефимовна обихаживала меня: стирала, штопала бельишко, рубашки, штаны. Следила за мной, чтобы я чистил зубы, мыл лицо, а по вечерам — ноги. Мне это не больно нравилось, но незаметно привык и к этому. «Как-никак — человек», — как говаривала Мария Ефимовна.

Раз в неделю она разводила стирку и командовала мной. Я еле успевал поворачиваться. Посил и грел воду, следил за печью, вешал на улице белье. Она шуровала в корзине так, что все ходуном ходило: голова, плечи, руки, груди под рубашкой.

За несколько дней перед Новым годом она потащила меня в магазин. Долго обходила строгие ряды одежды, смотрела, копалась, наконец, выбрала черный суконный костюм и велела мне примерить. Я думал, что она, как всегда, шутит: с улыбкой, осторожно на-

пялил на себя пиджак, боясь его или случайно замарать, или еще хуже — подрать на плечах своих. Но костюм был мне впору, словно на меня шит. Я с грустью подумал, что лучше бы его не надевать — одно расстройство. А Мария Ефимовна подвела меня к зеркалу. Я так и ахнул. На меня смотрел незнакомый, здоровенный улыбающийся парень. А когда услышал цену, я в панике стал стягивать с себя обнову, но Мария Ефимовна одернула меня:

— Подожди, оглашенный! Брюки еще померить надо!

Совсем с ума спятила! Я что — при людях должен свои портки снимать. Или она меня совсем за дурака принимает? Я уже было побежал в новом пиджаке из магазина, но Мария Ефимовна так на меня гаркнула, будто удрила затылку, и повела меня к кабине, материей занавешенной. Втолкнула туда, дала новые штаны и говорит:

— Переодевайся там, а я посижу тут, коль ты такой боязливый.

Все остальное я делал как во сне. Больше не перечил Марии Ефимовне. Она сказала, что в плечах я — пятьдесят шесть, а в поясе брюки великоваты, но она уйдет. Велела завернуть и спокойно отсчитала деньги. Потом она купила ботинки, рубашку, и я уже сбился со счета, сколько она потратила денег. Во всяком случае больше, чем взяла у меня.

Из задумчивости она вывела меня только тогда, когда галстук стала выбирать. Ей понравился синий, в полоску, а мне — малиновый. И как она ни убеждала, я стоял на своем. Разве она могла знать, что наш Председатель носил только красный галстук. И я еще тогда дал зарок себе, что если разбогатею, то обязательно куплю такой галстук. Она махнула рукой. Потом без моего спроса купила трусы, носки, майку.

Радостная и сияющая, будто она себе отхватила наряды, вышла из магазина.

— Ну, Ваня, теперь, чтобы все это, — она показала на свертки в моих руках, — долго носилось, надо бутылочку. Можно?

Она спросила уговаривающе, сразу из приказчика превратившись в просителя.

— Шут с тобой, а мне мороженого купи.

— Мороженого? Хоть сто.

— Сто не надо! Дорого. Десять хватит...

Уже вечерело. Темень смешалась с дымами, и в этой ровной, маслянистой темноте бойко играли светлячки окон. Весело скрипел, обновленный темнотой, снег, гудели машины, бодро лаяли собаки, словно радуясь моим обновкам.

Я затопил печь, а Мария Ефимовна скоро собрала на стол.

— Ну, чего замер? Иди переоденься, все чтобы новое!

Я вышел из своего угла счастливый, готовый своим видом сразить наповал Марию Ефимовну. Но глянул на нее и раскрыл от изумления рот. Она была в новом, каком-то шуршащем платье, на шее — черные бусы, юмолдевинная на десять лет, с блестящими глазами.

— О, Ваня, — хлопнула она по бедрам руками, — ты просто красавец. Ты чудо, Ваня!

Я засмущался не то от ее похвалы, не то от ее незнакомого вида.

— А вы, Мария Ефимовна, — пробубнил я, — вы — царевна!

— Ладно, ладно льстить мне, — подмигнула она озорно, — давай лучше к столу.

Выпить я отказался. Она даже погрестнела. И, видя это, чуя свою какую-то непонятную вину, стал объяснять ей:

— Я на похоронах Парамона Аполлинарьевича с горя горького хлебнул стакан самогона, так верьте, Мария Ефимовна, чуть с ума не спятил. Кле отводились со мной. Как вспомню, все нутро выворачивает.

— Ну, коли так, — вздохнула Мария Ефимовна, — неволить не буду. Я ведь, признаться, сегодня первый раз пью от радости... А может, чуть-чуть налить? За радость. — И не дожидаясь больше моего согласия, наполнила рюмки.

Мы проговорили с ней до глубокой ночи. О жизни, о людях. Я порывался несколько раз уйти спать, но она удерживала меня, и мы снова находили тему для разговора.

Наконец разошлись по своим углам. Я долго ворочался на койке. Сон не шел, всякие мысли вползали в голову. Но было хорошо

и уютно. Подумать только, я сегодня оделся так, как в кино. В деревне бы меня не признали.

— Ваня, — вдруг подала голос Мария Ефимовна, — я что-то замерзла. Поддай-ка мне старое пальтишко.

— Сейчас... Штаны надену.

— Пока ты свои штаны ищешь, — сердито сказала она, — я околею.

Пошел в трусах, взял пальто на кухне и принес Марии Ефимовне.

— Укрывай, — сказала тихо она, и когда я положил пальто, попросила: — Ну-ка нагнись ко мне.

Я нагнулся, она вдруг откинула одеяло, сверкнула белым и притянула меня к себе. Меня обдало жаром, как над каменкой в бане, стало нечем дышать...

Утром я прятал от нее глаза. Не знал, куда деться, и торопился побыстрее уйти. Но она заставила меня поесть и, не выдержав, я сказал покаянно:

— Мария Ефимовна, вчера я вас разобидел. Сам не знаю, как получилось. Простите меня, если можете.

Она весело и громко засмеялась.

После того сумасшедшего дня, казалось, должен был весь мир перевернуться. Но нет. Все было, как и было. Стоял мороз. Потом повалил снег и потеплело. Люди со мной так же весело здоровались. По-прежнему при встречах приветлива была Валентина Александровна. Пришел новый год, и январь принес стужу. За ним заветрил, заметелил февраль, а дорожки у меня были чистые, как летом.

Убравшись, я бежал помогать на кухне. Меня хвалили и садили есть.

Словом, жизнь шла так, как будто ничего не произошло. Но я все еще стеснялся Марии Ефимовны, был с ней на «вы» и, заласканный ее заботами и вниманием, все сильнее и сильнее привязывался к ней. Я встречал ее, а когда она работала в ночь — провожал. Самое странное, что пастине со мной она была доброй, а при людях грубо подшучивала надо мной, насмехалась. Стеснялась ходить со

мной в кино. Я упрекнул как-то ее. Мария Ефимовна ничего не ответила, только посмотрела долю и грустно.

— Я страшный. Дурной?

Она, невесело усмехнувшись, сказала, что таких дураков побольше бы, и другим стало бы теплее, и свет был бы добрее.

— Хочешь, — сказал я раз, — буду тебя звать мамой?

Она обиделась. И почему? Заботлива, внимательна, добра, пить совсем почти перестала, самый сладкий кусок мне подсовывает. Разве не мама? Что-то в этой городской жизни не давалось моему уму.

Второй год я работал в больнице, мной были довольны. Один раз премировали деньгами, и если бы моя воля, я бы эти деньги под стекло, в рамку и на стену повесил, как фотокарточки в деревне. Сказал Марии Ефимовне, она рассмеялась и говорит: «А что, мы твои премии будем на книжку класть». На книжку так на книжку. Знал, что Мария Ефимовна глупость не посоветует.

Как-то встречает меня Валентина Александровна, радостно здоровается и говорит, что я-то ей и нужен. Попросила меня вечерами санитаром поработать. Один заболел, другой в учебном отпуске, остался один.

Я засомневался сумею ли?

— Сумеешь, — отвечала Валентина Александровна, — ты заботливый, добрый и вон какой дядя. А больным что нужно? Забота и внимание.

— Только я пьяниц не люблю.

— Кто ж тебя заставляет их любить, но и они больные.

— Так, да не так, — говорю я, — одни больные, что малые неразумные дети — сами по себе. Их жалко. А пьяницы сами себя сумасшедшими делают. Кто их принуждает?

— Ну, Иван Иванович, ты как настоящий психиатр стал рассуждать, — засмеялась Валентина Александровна.

— Никакой я... а понятие свое имею.

— Правильно, свое понятие надо обо всем иметь. Вот и будь всегда такой. — Она улыбнулась. — Знаешь, Иван Иванович, когда на-

чинает светать, я своим говорю: светло становится, потому что Иван Иванович Ванин вышел со своей улыбкой убирать территорию. — Она немного помолчала, будто думая о чем-то своем, потом добавила: — Когда человек улыбается — всегда светлее вокруг... Так ты, Иван Иванович, подойди к старшей сестре, я ее предупредила.

Так я стал медицинским работником.

В отделении есть надзорная палата, где самые трудные лежат. За ними нужно внимание, уход и глаз да глаз, чтобы они ничего худого не сделали. Сидишь в дверях, смотришь: кому покурить дашь — папироски им выделяют; кого приструнишь, чтобы не баловал; поможешь сестричке уколы поставить — словом, работа не грузчика, но нужная. Иногда на вопросы, если нетрудные, отвечаешь; поговорить они большинство любят. Разговаривают даже сами с собой...

К дежурствам я привык, сестрички радовались даже, когда приходил на смену.

Одно огорчало, когда совпадали смены с Марией Ефимовной, она вела себя со мной, как с чужим. Медсестры даже говорили ей, что она совсем замордовала своего жильца, что он уже бояться стал ее. Они стыдили Марию Ефимовну, а мне ее жалко было. Она ведь понимает, что это нехорошо, но уж такой, видно, характер. Я на работе с ней ласков, а она сурова. Потом дома будто спохватывается, прощение просит, дурной себя называет, благодарной. Я ее успокаиваю.

Месяц прошел, вызывает меня Валентина Александровна и говорит:

— Иван Иванович, вы испытательный срок выдержали. Показали себя хорошо. Вами довольны. Хвалят. Не согласитесь ли вы перейти к нам в отделение постоянно работать санитаром?

— Как не соглашусь, — говорю, — Валентина Александровна. Я с полным согласием.

— Ну вот и хорошо, Иван Иванович!

— С радостью, — говорю. — Мне на вас посмотреть, что в детстве заглянуть, больно уж вы мою учительницу, Екатерину Петровну Боброву, напоминаете. Да и сами по себе вы несколько не хуже. Мне почему-то на добрых людей vezet.

Скоро три года, как я живу в городе, больше года работаю санитаром. Меня сняли на портрет и повесили на доску Почета. Рано утром, когда убираюсь, подойду к той доске и смотрю. На себя, конечно, но больше на Валентину Александровну. Почетно мне рядом с ней, видно, и я чем-то похож на нее, коль нахожусь на одной доске. Грамоту имею. В рамочке она у меня, под стеклом — протираю каждый день. За труды ведь.

Хорошо жить на белом свете, и новый день радует меня.

Придешся я совсем. Мария Ефимовна — заботница, прошлым летом, когда в деревню ее ездили, фетровую шляпу купила. Говорит, что должен я смотреться лучше других. А сама даже заплакала, когда я к Восьмому марта ей серебряные сережки купил.

Все хорошо, и вдруг вызывают к самому заведующему больницей. Иду, сам думаю: что же я натворил? Перебираю день за днем свою жизнь в больнице. Плохого ничего вроде нет. Может, о Марии Ефимовне узнали? Так тут уж наше дело. Все по доброму согласию, и ее даже расписаться звал, оформить все законно. Посмеялась она...

Зашел в приемную. Сказал: «Здравствуйте. Я — Ванин». Велели подождать минуточку, а девушка вышла от начальника и сразу сказала: «Пройдите».

Зашел. Поднимается навстречу мой давнишний знакомый. Сам Семен Борисович, здоровается за руку. Усаживает меня, а сам ходит по кабинету. Смотрю на него с беспокойством, но вида не подаю, улыбаюсь.

Наконец он говорит:

— Что же вы, голубчик, Иван Иванович, натворили?

Я приподнялся.

— Сидите, сидите! — и смеется.

У меня от сердца отлегло: если так смеются — не к худу. А он продолжает:

— Как же вы, Иван Иванович, на двух работах справляетесь? Работаете санитаром, работаете дворником и молчите. Так ведь нельзя.

— Я, — говорю, — хотел как лучше. Выходит, плохо?

— Выходит-то хорошо. Только как мы вам будем платить? Я уж думал и так и сяк. Нет такой статьи, хоть убейся. В одном учреждении за две работы не платят.

— Ну, разве же я прошу? Мне и так хорошо. Деньги идут. Премии дают, грамоту вот. На доске с врачами вися. Все хорошо, Семен Борисович! Спасибо вам! Ну, я пошел!

— Спасибо вам, Иван Иванович! Только боюсь, рассердитесь вы и на нас в суд подадите, что мы вам не все платим.

— Разве же на хорошее сердятся? Силком я ничего не делаю. А чистоту наводить мне самому приятно. Бывало, в колхозе так выдраю коровники, что хоть сам ложись отдыхай. И здесь подмету, а потом и сам люблюсь. Так что, Семен Борисович, вы мое дело не отнимайте.

Он слушал и смотрел на меня внимательно, что-то думал. Что может думать такой умный человек? Вот интересно бы узнать. Он прошел к своему столу, сел. Потом поднялся, подал мне руку:

— Спасибо, Иван Иванович! За все спасибо! Мы вас в отпуск на юг отправим, отдыхать. Вы там не были?

— Не, — говорю, — не был. Но вы мне лучше еще грамоту дайте, коль обрадовать хотите...

К Первому маю меня наградили второй грамотой. Красивее пуще первой, и сам Семен Борисович при всех жал мне руку. Говорят: человек бывает счастлив на седьмом небе. Не знаю. Я был счастлив на земле.

В сентябре у меня и у Марии Ефимовны должен быть отпуск, а накануне я повел с ней разговор, чтобы уехать в ее деревню. Она долго лежала молча, и уж было подумал, что она спит. Но вдруг она повернулась ко мне, обхватила крепко горячими руками, будто я собрался бежать куда-то, прижалась и заголосила безутешно, по-бабьи, навзрыд. Я спрашивать, уговаривать давай, а она плачет, как над покойником. Сердце у меня сжимается, лежу ни жив ни мертв, готов уж сам расплакаться от предчувствия какой-то беды. Наконец, она утихла, но слезы продолжали капать на меня, как капли с веток после дождя. Потом она жалобно и тихо говорит:

— Все, Ванечка родненький. Нам надо расстаться. — У меня сердце остановилось. — Рано или поздно это должно было случиться. Прости меня, миленький. Через несколько годков я буду старухой. А ты вон какой молодец! Еще будешь счастлив, еще будут у тебя радости. Красивая жена будет.

— Но я не хочу, — говорю, — ты мне любя! Я умру без тебя. Лучше и не думай! Что ты со мной творишь? Ты же молодая, крепкая, и с тобой я крепкий.

— Выслушай меня, Ванечка, дорогой мой, и пойми! — взмолилась она. — Скоро, буквально на днях, приезжает из армии мой сын. Уже письмо прислал. Ради него я все вытерплю. И вечную разлуку с тобой, и одиночество, и бабью слабость. Все. Не вынесу я только его проклятья. Ведь вы с ним ровесники. И он не поймет меня, не поймет, если я себя не понимаю. Думала, бабья блажь, а вон как все обернулось. Присохла я к тебе, солнышко ты мое! Солнышко моего бабьего лета. Ты говорил, что я похорошела, помолодела. Это ты вливал в меня свою молодость. А теперь, без тебя, увяну я, ужмусь, усохну. — Она села, опустила ноги.

Я приподнялся, потом рядом сел, прижался к ней, обнял и тихонько заплакал. Я гладил ее молодое тело, на котором знал каждую родинку, не веря тому, что она говорит. Голову ломил от разных дум. Почему люди, нужные друг другу, рождаются в разное время? Почему хорошие рано умирают? Почему у добрых — злая доля? Почему тело молодо, а лицо старо? Я поймал себя на этой мысли. Значит, думал все-таки, что она старая. Боль сжимала грудь, виски, выдавливая слезы. Но я ничего не мог поделать.

Теперь она ласкала и успокаивала меня.

Потихоньку боль в голове притупилась, и я, вздохнув, сказал:

— Я рос сиротой, без материнской ласки. Думал, обойдет. Но ты дала мне все: ласку, нежность, заботу, и я никогда не забуду тебя. Не посетую на судьбу — она не обделила меня, дорогая Мария Ефимовна!..

Мне дали комнатку в пристройке к прачечной. Там раньше была какая-то кладовка.

Завхоз больницы обещал поставить батареи и сделать ремонт.

— Так что жить будет вполне можно. Главное — отдельный вход, — загготал он.

Времени у меня свободного было теперь много, идти никуда не надо, никто не ждет, а материал под боком, и я принялся за ремонт сам.

Выкопал погребок (картошку-то хранить надо), укрепил стенки брусками, как колодец. Отобрал сухие плахи на пол и за два дня не спеша постелил его. Потом снял железную решетку с окна, отремонтировал рамы, вставил стекла и принялся за ремонт двери.

Работа не позволила мне искать встречи с Марией Ефимовной, давала возможность забыться. Так вот и после смерти Парамона Аполлинарьевича я забывался в работе: целыми днями возил навоз на поля, разбрасывал его...

Я уже прострогал доски для перегородки: поставь ее — будет крохотная кухонька и прихожая. Инструмент соскучился по работе, я — по инструменту, и дела у нас шли лихо, а чертов завхоз с батареями не появлялся.

Как-то прачки остановились возле, поглазели и говорят меж собой:

— А у нас передовиков не очень жалуют.

— Как же! На доску повесили...

— Вот комуру ответи.

— А Иван Иванович довольный.

Я улыбался, а здесь обиделся.

— Что зря говорите! Посмотрите, — пригласил их в квартиру.

Они заскочили всей оравой, замолкли сначала, а потом давай ахать.

— Хорошо! Неужели, Иван Иванович, это ты все сам?

— Ну почему сам, — отвечал я, довольный, — завхоз помогал. Вон батареи уже неделю ставит. Если так дальше будет — к новому году сделает...

Я пошутил с ними, а они, видно, по всей больнице разнесли. На следующий день (я после ночной отдышал) приходит ко мне хмурый Семен Борисович и мрачный завхоз. Осмотрел Семен Борисович мое жилище и говорит:

— Не хоромы, Иван Иванович, но лучше, чем я думал. А завхоз наш скромный — такую работу провернул и молчит. Я уж было шуметь хотел.

Не потому, что был спросонок (я не рассердился даже, что меня подняли), а просто не люблю, когда люди не на своем месте, потому и сказал сердито:

— Зато я — нескромный, Семен Борисович, все это сделал один я, собственными руками. Завхоз же батареи обещал и забыл... поставить...

Побелить, покрасить полы и рамы было дело двух дней. Так у меня появилась собственная городская квартира.

Мария Ефимовна перешла работать в другое отделение, но я однажды столкнулся с ней. Очень взволновался, расхваливал свою квартиру, звал в гости и только потом догадался спросить:

— Как живете, Мария Ефимовна?

Она ни слова. Постояла, помолчала, а когда моя радость схлынула, покачала головой и пошла.

Каменная женщина. Вот так все время, пока работала в больнице, промолчала. Ни единым взглядом не показала своего бывшего расположения.

А тут появилась в больнице новенькая медсестра. По нраву она мне пришлась. Приятливая, улыбчивая, а жизнь у нее, как оказалось потом, была не мед.

В больнице был в то время уже штатный дворник, который не любил своей работы, а меня по-прежнему тянуло к метле и лопате, и я с желанием убирал вокруг своего отделения. А теперь я незаметно для себя стал захватывать территорию того отделения, где Галина Ивановна работала. Не мог же я без дела болтаться под окнами. Вот я и мел, убирал.

Один раз незаметно подошла ко мне Валентина Александровна и спрашивает:

— Иван Иванович, вы что, перешли работать в это отделение? — Лицо ее было серьезное, но ямки на щеках подрагивали, а в глазах была смешливость.

— Как так? — опешил я. — Я же в вашем отделении работаю!

— Ох, Иван Иванович, смотрите. Перетянут вас... — и засмеялась.

Работа — ведь это вторая половина дома, а в хорошем доме нет тайн. Не стало тайной и мое особое расположение к Галине Ивановне. Меня будто кто все время подталкивал к ней, а причин подойти, сказать ей, что я — Иван Иванович Ванин, не было. Вот я и мел территорию возле ее отделения целых три года. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы не одно торжественное собрание. Избрали меня тогда в праздничный президиум. Не первый раз такая честь, но я всегда внутренне волнуюсь. На люди же выходишь, и кажется мне всегда, что из зала смотрит одобрительно Парамон Анолинаруевич, наш Председатель. Волновался я и в тот раз, может, потому и бухнул Галине Ивановне, когда увидел ее рядом:

— Здравствуйте, наконец-то мы встретились!..

Она зарделась вся, как боярка осенью, запыхалась и ответила тихо:

— Здравствуйте, Иван Иванович.

Потом я провожал ее, а по дороге без умолку рассказывал о батьке своем Култаеве, о нашем Председателе, о дядьке Голомидове, который подарил мне яловые сапоги; и так заговорился, что опомнился лишь, когда она сказала:

— Вот мы и пришли, Иван Иванович.

В маленьких окнах домика призывно горел свет, а во мне порвалась какая-то говорливо-веселая струнка.

— Хозяйка моя не спит, — сказала Галина Ивановна, — пойдемте чай пить.

Я потянулся за Галиной Ивановной послушно, хотя ноги мои рвались прочь. У крыльца я стал отказываться от чая, торопливо прощаться, обещая рассказать ей еще о своей деревне. Я уже повернулся к калитке, когда на крыльце неожиданно появилась хозяйка.

— Чего вы здесь? Заходите в дом, — сказала она и, видя мою нерешительность, строго добавила: — Если мужчина провожает женщину, а боится войти в дом, значит, у него намерения нечистые.

— Да нет, Мария Ефимовна,— подал я голос,— мы вот в президиуме вместе сидели... а теперь вот...

— Президенты мне! В дом идите...

Мы пили чай, а у меня словно язык отсох. Я или кивал головой, или тянул неразборчиво: «У-гу».

В квартире этой все было, как и прежде, только большая фотокарточка парня и девушки в простенке между окнами да заметно постаревшая хозяйка.

Мария Ефимовна перехватила мой взгляд.

— Это мой сын с невесткой,— сказала она и добавила глухо:— Старые матери не нужны детям.— Потом, словно спохватившись; поправила себя:— На сына я не в обиде. Хороший он у меня, и невестка ему пара. Это я на свою-старость жалуюсь, хотя вроде бы еще рапо...

Потом женщины говорили между собой, и разговор этот доходил до меня урывками, будто я то появлялся в квартире, то исчезал, и чай этот был для меня тягостным. Я уже не знал, как от него избавиться, а Мария Ефимовна все подливала и подливала в кружку, приговаривая:

— Пей, свеженький, индийский.— А голос у нее был прежний.

Наконец я не выдержал и сказал:

— Спасибо! Не могу уж,— и стал подниматься из-за стола.

— Значит, уводишь, говоришь, от меня жиличку,— в словах Марии Ефимовны не было вопроса, да и слов я тех не говорил.

— Да... нет...

— Подожди ты,— оборвала меня Мария Ефимовна, строго, по-матерински,— тебе с ней, Иван, будет хорошо,— и, обращаясь к Галине, продолжала,— а тебе, Галя, лучшего мужа не пожелаю.

Так сосватала нас Мария Ефимовна, как будто мать благословила.

С того времени еще несколько лет прошло. Случайной птицей я в городе оказался. И только работой утвердил себя. Кажется, санитар — невелика должность, а без нее никуда в медицине не деться. Вот потому и

орден имею: «Отличник медицинской службы». По праздникам ношу при людях.

Квартира светлая есть. Гуляй из одной комнаты в другую. Прямо скажу, ванна — не деревянная банька, костей не выпаришь, веничком не исхлещешь тело, но она чистоту дает, а это ведь всему здоровью голова.

Галина Ивановна по-прежнему сестрой медицинской работает. Сын — двенадцати годков, а уж в пятом классе учится. В учебе я ему не помощник, но зато в каком другом деле — советчик, друг. Вот столярному делу учу его. Интересуется. Думаю, может, ему бабкины инструменты послужат. Правда, сын меня пока дядей Ваней зовет, но я не тороплю. Дядя Ваня, так дядя Ваня. Но сердце детское ему самому подскажет и, если я гоюсь в отцы, он сам, без принуждения когда-нибудь меня папой назовет. Ведь я своего батьку, земля ему пухом, Ивана Дмитриевича Култаева, вначале дядей звал. А коль он мне палкой был, так и сейчас, даже в мыслях, его отцом называю. Жаль только, что он об этом никогда не узнает.

Главный начальник в семье у нас — мать, Галина Ивановна. Она самая умная у нас и самая мудрая, но со всеми вопросами, даже пустяковыми, обращается ко мне. Чуть что, сыну Петру говорит: «Надо с отцом посоветоваться». Вот и выходит само собой, что глава дома я. Как и следует мужчине.

Только вот последний год беспокойствие какое-то давит. Виной тому то ли мое сельское нутро, то ли жена моя. Скрывать не буду, и раньше было, нахлывет, но схлынет. А сейчас беспокойствие это у сердца самого прилепилось. Может, жизнь моя ладная виной еще тому, и такое думается. За дежурство что только в голову не придет.

Галина Ивановна у нас выдумщица, говорит однажды:

— Давай поросенка купим?

Удивился я, но вида не подал, только горю смеясь:

— Где держать-то?

— У Марии Ефимовны стайка есть.

Тут уж стало не до смеха, и растолковываю ей понятно:

— Это когда я в город приехал, была мода синней держать, коров или другую живность. Сейчас уж все отвыкли.

— Напрасно, — всего-то и сказала она, но понял я, что не убедил жену.

Потом она стала письма писать. Сидит на кухне, уже поздно. А я думаю: «Может, помочь в чем ей падо?»

Стали и ей приходиться письма. Прочитает их — долго ходит печальной. Не выдержал я и говорю:

— Ну давай заведем поросенка, у Марии Ефимовны держать станем...

Улыбнулась Галина.

— Ладно, не буду больше тебя тревожить, а письма я писала красным следопытам. Отца твоего искала. Хотя бы след...

— Напрасно это, — вздохнул я, — если бы батька жив был, он давно бы меня отыскал...

В отпуск приехали мы в мою деревню после долгих уговоров Галины Ивановны. Она даже сына с нами взяла. Я твердил ей, что деревни моей уже нет. Приедем и уедем, только деньги растратим. А она: нет, поехали.

Дорога, которая когда-то показалась мне бесконечной, теперь заняла у нас всего один день. Час с небольшим летели самолетом до райцентра, а там на «ракете» два часа всего понадобилось.

Дом Голомидовых был целехонький. На скамье сидел сам дядька Голомидов. В одной руке у него курилась трубка, из-под другой он с любопытством смотрел на нас.

Как будто вчера, а не двадцать пять лет назад я распростился с ним у этой скамейки. Я был рад этой встрече, такой неожиданной и нежданной, что ошалело ляпнул вместо приветствия:

— Ты еще жив, дядька Евсей?!

— Жив... и помирать не собираюсь, — ответил обиженно, но с достоинством старик и стал смотреть в другую сторону, показывая, что его совсем не интересуют приезжие.

— Дядь Евсей, это ж я! Иван Ванин, сын Кузтаева, — закричал я, — заступая ту сторону, куда он смотрел.

— Не знаем таких, — отрезал дед и добавил: — И не кричите, не глухие.

— Евсей Корнеевич, здравствуйте!

— Здра-а-авствуйте, — ответил дед передразнивая. — Добрые люди с этого начинают.

— Прости, Евсей Корнеевич, от радости невежливым стал. Это я — сын Ивана Култаева, тоже Иван, ну тот самый, которому ты... вы... яловые сапоги подарили.

Дед подвинулся, предложил Галине Ивановне сесть, а мне отвечал:

— Яловые сапоги помню, а тебя нет.

— Ну как же так, дядька Евсей? — спросил я жалобно, отринутый не только деревней, но и самим, как мне показалось, дядькой Голомидовым, самым старым ее корнем.

— А вот так! — развел он большими руками. Движение это было знакомым и походило на взмах крыльев.

Жена то смотрела на меня с сочувствием, то обращала свой взор на деда и тоже было пыталась заговорить, но ее каждый раз останавливал дядька Евсей едва заметным движением руки.

Сын наш, молчаливо наблюдавший в стороне за негостеприимным стариком, вдруг подошел ко мне и стал рядом. Дед перевел на него взгляд, потом снова поднял на меня, затаился из трубки, выпустил дым, а с ним едкий вопрос:

— Ну, что, Иван Иванович, закрылась деревня? — и, обращаясь к улыбающейся жене, добавил: — Я бы его ни в жисть не признал, кабы он, пропащий, мне перед уходом здоровья не пожелал. Последнюю десятку от старменял. Вот так. — Дед взмахнул руками, посмотрел на меня и, не скрывая хитрой улыбки, просил знакомить его с моими.

Три дня мы бездельничали у Евсея Корнеевича. По утрам, пока Галина Ивановна готовила завтрак, я колот дрова. Свежие поленья пахли култаевской стружкой. Щемило сердце.

В первое деревенское утро я показал на распиленные тополиные хлысты и попросил колун у деда. Тот молча принес его и, подавая, пояснил:

— Вот это топориче, его в руки берут. А это железяка — колун, им колоть.

— Лено, Евсей Корнеевич,— и я стал у самого толстого комля, занес над головой колун, крикнул и с какой-то радостной удалью опустил его на чурбан.

Дед тоже крикнул, когда комель развалился на половины.

— Хорошо вас в городе кормить,— одобрил он.

Вечером мы ходили в гости к Савелию Евсеевичу. По дороге навестили тетку Евдоху, Парамона Аполлинарьевича и бабушку Акулину. Евсей Корнеевич, промжо разговаривающий до этого, здесь замолк в грустном почтении, а подойдя к могиле старухи, тихо, но отчетливо, с печальной виной в голосе, сказал, будто сообщил:

— Вечер добрый, Акулина Евтихьевна. Это я — твой Евсей.

Потом он перечислил всех, кто пришел проводить ее. Сказал, что проводят они еще Евдокию Северьяновну и Парамона Аполлинарьевича, а потом к ее сыну Савелию пойдут и там помянут ее добрым словом.

Так же и у других могилок он разговаривал. Тетке Евдохе он сообщил, что привел к ней ее Ивана, пропавшего было совсем. Председателю, Парамону Аполлинарьевичу,— что «хоть лето и ноне суховато, но в пойме взяли сено доброе».

Едва отошли от кладбища, как дед стал громко ругать своего Савелия за то, что он не слушает отца родного, если бог самого умом обидел. Дело в том, что дядька Евсей советовал ставить три совхозных дома рядом с ним, когда открывали ферму, а его не послушали. Дома поставили в самой ложине у ручья. А там и заносит их зимой сильнее, а летом и солнца меньше, и гнуса больше.

Савелий Евсеевич встретил нас радушно. Батьку усадил на хозяйское место, сам сел по правую сторону, а меня по левую с семьей усадил. Разговор вели о житье в городе и деревне. Савелий Евсеевич все пытал меня, чем так город притягивает, и приглядывался ко мне, как будущий свекор к невесте...

А я посматривал на Галину Ивановну и удивлялся, что она держится со всеми так, будто прожила здесь всю жизнь.

Избушка моего батьки совсем завалилась и напоминала старую заброшенную могилу. Чтобы как-то уменьшить эту унылую схожесть, я разобрал вначале рухнувший потолок, потом завалившуюся стену. Солнце теперь освещало нутро и сверху и сбоку, а потому, наверное, в глаза мне вдруг бросилась вся убогость и непригодность жилья. Когда пришла жена звать на завтрак, я по бревнышкам раскатал и остальные три стены.

— Что же ты наделал?— сказала она огорченно,— я так хотела посмотреть, где ты жил.

— Новый... другой поставим дом,— неожиданно изрек я и тут же обругал себя в душе. Но слово было сказано.

Евсей Корнеевич ругался сильно, но беззлобно, и я слушал его как старосту деревни.

— Силу девать некуда?— кипятился он.— Это хоть был и не дом уж, но все же память. А дом если надо — ремонтируй Евдохин. Листвиница. Там даже крыша не худа. Одна матка лишь просела.

— Я хочу на своем месте...— наконец сказал я, после долгого молчания.

Дед с таким любопытством стал осматривать меня, с каким не смотрел даже в первый день.

— Но тут же пaskвозь все продувает,— сказал он погодя.— Култаев-то был пришлым в нашей деревне, вот и вселился на бугре.

— Зато отсюда такой вид, Евсей Корнеевич...

Дед окинул широкую полосу воды, пойменные луга, уже выкопанные, но по-прежнему сочно-зеленые, со стогами сена, похожими на разбегавшихся в беспорядке желтых овец, на темную кромку леса у горизонта и там же блестящий поворот реки.

— Вид хороший,— сказал он, довольный осмотром.— Будем ставить.

Известие, что будем строить дом, которое принес Евсей Корнеевич, Галина Ивановна и сын встретили с радостью. Они не знали еще, что такое ставить новый дом.

А я промучился всю ночь, как любой городской человек на моем бы месте...

СОЦГОРОД

Во мне давно уже несвязно,
Но все уверенней живет
Сознание энтузиазма —
Вот только приоткрою рот:
«Соцгород, слышишь, наших бьют!» —
И полстраны меня поймут,
Послевоенных полстраны:
Играют в зоску пацаны.

Живут у Конного базара
Галям, Пискун и Воробей,
И смотрят серии «Тарзана»
До замирания кровей,
Всей кожей погружаясь в джунгли...
Но жизнь встречает лаем Жучки,
Сараями, а к ним — забор
И погребя — к бугру бугор.

Там ископаемый, как ящер,
Оскалил навесной замок
Наш каменноугольный ящик,
А в нем чумазый мой щенок.
Мы с ним мечтой живем отчаянной,
Что станет он потом овчаркой!
И я его, пойдя на риск,
Зову высокопарно: «Рекс»!

Цветет под окнами картофель.
Легко от нищей красоты!
И девочка стоит напротив —
Я ей картошкины цветы
Срываю — кавалер трехлетний!..
Они из комнаты соседней,
Из оккупации они,
Поэтому вроде родни.

И двухэтажные бараки
Кишат, как джунгли, ребятней;
И руки чувствуются — для драки —
У ребятни полублатной.



Блатной — не то чтоб хулиган —
За кулаком не лез в карман;
Как бог, хранил его изъян,
Что у него «сидел» братан!..

В нас голодуха пальцем тычет,
А то и финкою пырнет...
Но только жизнь все больше «личит»,
Что значило — к лицу идет;
И носит взрослую фуфайку,
Надев на худенькую майку,
Обнявшись длинным рукавом
В самоспасенье роковым...

И фезеушников в бушлатах
Считаем за соцгородских.
Они такие же — в заплатах.
Отец Галяма учит их,
Поэтому они нас любят.
Но почему-то вдруг отлупят...
Необъяснимо ФЗО,
Как нынешние НЛО!

И жить нам нравится постольку,
Поскольку просто — можно жить!
Между бараками помойку
Легко в каток преобразить:
И вот — скользят, не зная скуки,
Стальные «дутьиши», «снегурки»,
К пимам прикручены чулком.
Слабо микробам подо льдом!

Замерз... Сижу спиной к духовке,
Как у блаженства на краю!
И книжку языком неловким
Читаю — первую мою;
И букву «Ф» никак запомнить
Я не могу, чтобы заполнить
Слова. И лезут со страниц:
То фюрер, то фашист, то фриц...

От криков за стеной проснулся...
Там милиционер живет —
Он пьяный только что вернулся
И: «Застрелю!» — жене орет.
Я знаю — он не хулиган.
И все же — у него наган...
Возьмет и выстрелит сейчас!
А стены тонкие у нас...

Соцгород, помнишь: кочегарка
И сад ранеточный при ней,
Как будто мертвому припарка —
Чем непонятней, тем верней!..
Нас сторожиха проклинала,
Зато природа понимала —
И садик, не жалея сил,
Плодоносил, плодоносил...

Не пересчитаны подранки,
Еще совсем не отлегло,
И в каждой праздничной гулянке —
Победы чистое тепло.
И кто-нибудь вприсядку пляшет!
И кто-то каждый праздник плачет...
И взрослые навеселе —
Со знаком дружбы на челе.

Спасай славян, хмельная дрема,
Рас-пра-тудыкин белый свет!..
На улице, на службе, дома
За всеми наблюдал портрет.
Его до смерти обожали,
Под руководством — побеждали,
Но стоило ему не стать —
Не перестали побеждать...

Те годы долго, как минута
Молчания — идут, идут...
Те годы, дальние, кому-то
Небытия отсчет ведут...
Те годы... — кончилась война,
Но молоды еще сполна
Отец и мама, и страна,
И сладки детства времена.

ГОРОДСКОЙ ДВОР

Наш двор на лавочке сидит,
На тополиный пух сердит.
Весь день его пссочница
То мирится, то ссорится.
А трансформаторная будка
Сквозь дыры черепа глядит
И потихонечку, но жутко
От удовольствия гудит.

Там у троих Софи Лорен
Не сходят ссадины с колен:
Там спор об авиации
Индейцев у акации;
Там от души смеется мультик,
И вольный не испорчен вкус:
Бежит, расстегивая гульфик,
Поэтому мой сын под куст.

Наш двор поспит совместным сном
В изображении цветном,
Ковер начнет «выхлapyвать»,
Как из груди выхватывать!
А на четвертом, на четвертом,
Как будто пойманный окном,
Тоскует целый день о чем там
Портрет собаки за стеклом?..

Здесь вернисаж оконных рам:
Натурализм семейных драм,
Совсем молоденький поп-арт
С бароккомыслием впад,
И холостяцкие эстампы...
И смотрит, смотрит, смотрит вниз,
Скула, переставляя лапы,
Портрет тоски — сюрреализм.

Наш двор выходит погулять
И шансы каждому видать:
Они в прозрачной кофточке,
Как вишенки без косточки!..
И вслед наследственные принцы:
На них немыслимой цены
Как бы подследственные джинсы
С оттенком импортной волны!

А чтоб неверящий Фома
Не сомневался, что «фирма»,
И спереди, и на задуге
Есть этикетка на виду!
Не удержаться от соблазна
Фирмового — во всем! на всем!
Уже у нас «фирма» с Кавказа —
Портрет... за ветровым стеклом.

Наш двор усердно, как паук,
А может, кандидат наук,
Силетет, скучая, вычислит,
И на досуге выяснит,
Что нравится жена соседу,
А мужу он не нравится,
Но выхода другого нету,
Когда жена — красавица...

И что летело в выходной
Свеченье низко над землей,
Но гуманоиды с него
Не передали ничего,
А развернулись сразу круто —
Сломалось, может, что у них?..
И в понедельник почему-то —
Как высохло во всех пивных!

Наш двор доволен до ушей
Железной грыжей гаражей.
Окно распахнуто не в сад,
А на стоянку стада «Лад»,
Которое, любя, заводит
На утренней заре сосед,
И — то как зверь оно завоюет!
То завизжит на красный свет!

Наш двор на лавочке сидит,
На тополиный пух сердит;
И радуется до ушей
Железной грыже гаражей;
И что-то вяжет, как паук,
А может, кандидат наук;
И так выходит погулять,
Чтоб — шансы каждому видать;
И сладко спит совместным сном
В изображении цветном!



ПРИТОМЬЕ

Творчество участников областного семинара молодых литераторов

Пробным камнем для молодых поэтов и прозаиков Кузбасса стали ежегодные семинары, которые Кемеровская организация «Союза писателей РСФСР» и Юбком ВЛКСМ проводят на базе литературной студии «Притомье». Как правило, результат такого испытания — первая публикация или даже первая книга, потому что этому предшествует самый тщательный отбор произведений для обсуждения.

Недавний семинар не был исключением. В секции поэзии наиболее весомо выявили о себе кемеровчанин Владимир Ширяев, журналист по профессии, добившийся органичного сплава лирики и иронии; преподаватель технологического института Александр Катков, в стихах которого гражданственность звучания сочетается с вадухственностью; буровик из Междуреченска Валерий Берсенов, поэтически осваивающий тему труда. Добрые напутствия и советы товарищей по перу получили машиностроитель из Анжеро-Судженска Сергей Побоккин, десятиклассница из Прокопьевска Татьяна Андреевская, учительница из Кемерова Марина Шутова.

В секции прозы как наиболее зрелая была оценена рукопись Новокузнецкого журналиста Евгения Богданова. Рекомендованы в альманахах «Огни Кузбасса» лучшие рассказы геолога из Междуреченска Николая Калачева и инженера из Новокузнецка Виктора Корсукова.

Много споров вызвали произведения кемеровчан — преподавателя Александра Легчило, работника УВД Валерия Баранова, художницы Натальи Неупомнящих. В одном мнении было единодушным: люди это одаренные, ищущие, перспективные.

Предлагаем читателям подборку произведений участников семинара.

Валерий Зубарев

Евгений Богданов

СОЗРЕЛИ ВИШНИ

РАССКАЗ

К Бакулиным съезжались гости — на свадьбу. Кто приехал на автобусе, Николай Ильич — на «Запорожце», а Иван Ломейко с женой — на «Волге». Темно-синяя машина, выкатив из-под колес легкие клубки пыли, остановилась напротив калитки.

Их выбежали встречать. Невеста, растолкав всех крепкими локотками, с ходу обхватила маленькую рыжеволосую Наталью:

— Митя, давай сюда!

Подошел тоненький, кудрявый паренек, тряхнул головкой.

— Мой жених, познакомьтесь. А это тетя Наташа.

Наталья подала пареньку узкую ладошку.

— А это дядя Ваня. — Невеста показала пальцем на Ломейко и дурашливо запела: «Созрели вишни в саду у дяди Вани...»

— Все веселишься. — Иван подмигнул жениху. — Ты ее сразу бери в руки. Вот так, — он сжал в кулак толстые пальцы.

— Ой, как мы испугались. — Невеста схватила за руку Наталью и потащила в дом.

Иван поздоровался с мужиками, закурил.

— Богато, брат, живешь, — мигнул хозяин дома Ефим Бакулин.

— Стараемся, — Ломейко открыл кружные двери. — Куда ставить будем?

— За погреб можно.

— Давай лучше в огород.

— Так, — замылся Ефим, — у нас там тыкны с краю посажена.

— Станем. Под окнами оно, знаешь, спокойнее.

Ефим, переваливаясь по-утиному, побежал отбивать забор. Ломейко загнал машину, запер дверцу.

— Откуда жених?

— С города. Холодильники ладит. — Бакулин вытащил из-под колес раздавленную тыкву. — Ничего, поросенку сварим.

— Хилый какой-то, не по Валюхе.

— Такого захотела.

А чего не в городе свадьбу решили делать?

— Здесь решили. Воздух, говорят, вольный.

Ломейко огляделся: в ближнем от него углу огорода стояла копна свежего сена, за ставней вдоль забора шел малинник, перед ним будто присели на корточки кусты крыжовника. Через тротуарчик щипала лук опавшая к бедрам жена Бакулина Клавдия.

Хорошо в краю родном, а, Васильевна? — крикнул Иван, — пахнет сеном и дерьмом.

— Эри смеешься, Ваня, — вздохнула Клавдия. — на этом навозе вскормлены.

Ломейко развернул плечи, потянулся:

— Ох и гуляем сегодня!

В зале буквой «П» были налажены столы, на скатерти постланы чистые половики. В прихожей распорядилась старшая сестра невесты Таисья. Грубовато покрикивая, она только перелезла в толчее свое полное тело.

Завидев Ломейко, Таисья уперла в бока руки:

— Ну, здравствуй, родственничек. Это ты на тыкву заехал?

— Твоя она, что ли?

— Ладно, подбери губу. — Она шлепнула Ивана по спине и повернулась к двери: — Лиза, Николай Ильич, чего стоите?

Николай Ильич — худощавый аккуратный мужичок, бережно поддерживал под локоть жену — кисть правой руки у той была перебинтована.

— Идите в угол, — велела им Таисья, — там посвободнее.

Расселись. Двоюродный брат жениха взялся знакомить гостей: «Отец новобрачного — старшина Семен Петрович Жданов, его жена — запевала фабричного хора Анна Ивановна».

Таисья называла родственников невесты. Долго хвалила Наталью. Потом перевела глаза на Ивана.

— Ломейко.

— И все, что ли? — растерялся Иван.

— Длинный, лысый, — добавила Таисья.

За столами засмеялись. Наталья, отгородясь от мужа ладошкой, мелко подрагивала губами.

— Слово — родителям, — объявил двоюродный брат жениха.

Ефим поднялся, крепко мигнул:

— Что тут сказать? Дочь мы растили, чтобы, значит... Дмитрия, правда, мало знаем, но раз приглянулись друг дружке — пусть живут в согласии...

Со стороны жениха тоже говорил отец. Начал он с того, какое время пришлось пережить их поколению, чтобы легче жилось нынешней молодежи. Говорил он отрывисто, рубил темной ладонью воздух, а переступая, поскрипывал протезом.

— За мирное небо над вашей головой, дети! — закончил Жданов, и ему захлопали.

Выпили раз, выпили два.

— А ну-ка — горько! — закричал Ломейко.

Бабушка Лида, оттопырив очки, смотрела, как целуются молодые. Потом повернулась к Наталье.

— А ладный у тебя мужик-то. Ты как птичка рядышком с ним.

Наталья, помедлив, улыбнулась. Она могла гордиться своим Иваном. Ему, а не кому другому доверили единственный на автобазе 120-тонный американский грузовик, его, а не чья другая фотография висит первой на доске Почета. Умеет Иван работать: всю смену со скул горошины не сходят.

Когда он приходит с работы, то первым делом проходит на кухню.

— Что у нас там нынче? — спрашивает Иван и подставляет под себя табурет. Наталья несет ему чашку борща — большую, специально купленную для мужа. Она не любит смотреть, как ест Иван — громко, с чавканьем, но уходить тоже нехорошо. И потом — надо подавать второе, что-нибудь с мясом. Тяжелая у мужа работа — нельзя ему без мяса. На третье Иван признает только компот из сухофруктов. Опрокинув кружку, он принимается за косточки. Щелкает их как семечки: таким зубам позавидовать можно.

Пока Наталья убирает со стола, стирает мужу рубашку, тот дает отдохнуть отяжелевшему животу: лежит на диване, курит. Напротив на стенке висит фотография, вырезанная из журнала «Огонек»: на фотографии изображен перекрытие Енисея: столпились у перемычки машины, летят в пенистую воду бетонные кубы. Среди прочих и машина Ломейко. Правда, его самого на фотографии почти не видно — лицо с булавочную головку, но у Ивана есть луна, и через нее уже можно разобрать — он. Да, у Ломейко не только почетное настоящее — у него славное прошлое. Три года месил он на МАЗе енисейскую грязь. Там, на стройке, и познакомился с Натальей. Заглянул как-то в библиотеку и — на тебе!

Библиотекари на стройке выступали с разными лекциями, и Наталья после свадьбы стала ходить в бригаду мужа. Говорила она горячо, звонко, любила читать стихи. Стихи ей удавались больше всего. Она знала их множество, и они теснились и жгли ее душу. Читая стихи, Наталья стискивала пальцы в кулачки, кулачки прижимала к груди или по-

колачивала ими бедра. При этом Наталья никого и ничего не замечала: глядела затуманенно куда-то в угол. Здорово у нее выходило. Иван, сидя где-нибудь сзади и сбоку ото всех, похваливал жену: «Молодец, Наташка! Так им, гадам, и надо!» «Каким гадам? — пугалась Наталья. «Да этим... буржуям и алкоголикам», — хохотал Иван.

Забеременев, Наталья уговорила мужа уехать. Этого он ей долго не мог простить. Тоскливо было ему на новом месте. Когда по телевизору показывали Саяно-Шушенскую, Ломейко бил кулаком по колену, скрипел зубами.

Наталья в такие вечера старалась не мельтешить перед его глазами — уходила на кухню, в ванную, в спальню к дочери. Когда ложилась спать, Иван больно задевал ее локтями. Наталья прижималась к стене, замирала.

Но потом Иван свьезся. Получил квартиру, стали мебель заводить. А тут еще машину дали. Теперь Ломейко смотрел на мир с высоты кабины «Американца», а кабина у того высока, не чета БелАЗам.

Недавно Иван свою машину купил. Нелегко она ему далась — выходных не знал, кроме пива, спиртного в рот не брал. Ни себе, ни жене обновки не позволял. Зато не какой-нибудь там «Запорожец» — по первому классу машина.

У Ивана прямо язык зудился поговорить об этом: ждал случая. Встрепенулся было, когда брат жениха стал рассказывать анекдот про то, как попали в аварию поп и еврей, но тут Таисья вынесла блины, и об анекдоте забыли. Зашелестели деньги, в полиэтиленовый мешок, который Таисья выставила посреди зала, повалились подарки.

— Давай, жена, — сказал Ломейко, когда очередь дошла до них — показывай.

Наталья взяла с подоконника сверток, развернула:

— Вот, Валюша и Митя, хрустальная ваза вам.

— Минуточку внимания, — крикнул Ломейко и постукал вилкой по вазе, — как звон?

Нормальный звон,— сказала Таисья,— держи блин.

После блинов Ефим вынес гармошку, и началась пляска. Мать жениха, натягивая на плечах платок, звучно сыпала частушки. Вокруг нее тяжело топталась пьяненькая сватиха и тоже пробовала выводить: «У Матрены кудри вьются все кругом, кругом, кругом...»

Невеста тянула в круг жениха, но тот краснел, упирался. Тогда Валентина схватила за руку Наталью. Та обернулась через плечо на мужа.

Ты что, боишься его, что ли?

Да...— Наталья смутилась,— я думала, может, он тоже пойдет...

Дядя, айда с нами!— крикнула невеста.

И вам пол проломлю.

Иван подошел к окну. Машина была на месте. Среди тыкв, сухих прутьев малинника и павоза она показалась ему еще дороже. Он вспомнил родительскую избенку: огород, водки, тяпки и лопаты в сенцах. «Вот — ковырялись всю жизнь, а толку? Больше чем на какой-то швивый «Ковровец» и не наковыряли... надо шагать по жизни так, чтоб нум стоял».

Ломейко отвернулся от окна, посмотрел, как длиннют, и широко прошагал в прихожую.

Мелко берете, граждане,— крикнул он и, хихкая, выбил гулкую дробь. Наталью вытолкнули к мужу. Закинув голову, она стала часто отстукивать маленькими ножками, но скоро устала и вышла из круга. Иван, не останавливаясь, махнул рукавом лоб: «Есть кто пошустрее?» Выбежала круглолицая жена брата жениха. Она смело шла на Ломейко, выкатив блестящие глаза и касаясь его рук пылкой грудью.

Здоров, буйвол,— похвалила Ивана бабушка Лида.

Ваня,— громко засмеялась Наталья,— тебя тут захвалили. Я ревновать буду.

Иван не слышал. Наталья обняла невесту и звонко завела:

Ой, мороз, мороз. Не морозь меня...

Пришел брат жениха, стал звать за стол.

Наталья кинулась помогать Таисье: подавала голубцы, уносила пустую посуду. Щеки

у нее разгорелись, язычком пламени металась у виска рыжая прядь.

А Иван был хмур, поглядывал в окно.

Разговор о машине вышел уже вечером.

— Ну, как, «Волга» бегаёт?— спросил Бакулин.

— Как часы,— векинулся Иван.

— Дорогая она, бляха. Сколько на нее работать надо.

— Вот именно: работать, а не клопов давить,— Иван опустил на стол кулак,— вот этими руками я еще потрясу кассиров...

— Машина, конечно, добрая,— встрял бесесый Вениамин Килин,— но опять же — в наших условиях выгоднее держать «Запррожец».

— Во, загнул,— оторопел Иван,— эта колымага лучше «Волги»?

— А ты поинтересуйся у Николая Ильича.

— Да уж не постесняемся,— Ломейко крутнул головой,— что-то не вижу я его сегодня.

— Он с Лизой ушел,— сказал трезвый Наливайко.

— Все за юбку держится?

— Так у нее же рука обожженная,— тихо заметила Наталья.

— Подумаешь, случай,— Ломейко махом вынул рюмку водки и вышел из-за стола.

— Сколько он у тебя зарабатывает?— спросила у Натальи бабушка Лида.

— Триста, когда больше. Богатый муж.

— А не бьет?

— Не дошло пока еще.

— А меня Вася-покойничек бил, царство ему небесное. Махонький был, а как жогнет,— кошом платка бабушка Лида утерла слезинку.

На веранде включили магнитофон. Ломейко навалился на косяк, смотрел, как танцуют. Мимо прошел, покусывая губы, двоюродный брат жениха.

— Инна!

Жена его, распаренная, выбежала из круга.

— У, жарко,— она оттянула на груди кофточку.

— Пойду прогуляюсь, так что не теряй.

— А если меня украдут?

— Ну... это уж как ты хочешь.

Когда он ушел, Ломейко шагнул к Нине:
— Стариков принимаете?

Наталья вышла во двор. За оградой в сухой канаве лежал козел, тянул морду к травинкам. Наталья открыла калитку и побрела по переулку. Она прошла его и на околице увидела Лизу и Николая Ильича. Они сидели на бревнышке у небольшого озерца.

— Проветриться решила, — сказала им Наталья и присела рядом.

— Ты все в библиотеке? — спросила Лиза.

— А где же еще.

— Исхудала ты что-то, Наташа. Иван-то у тебя вон какой, а ты...

С краев озеро было густо затянато травой, но в середине темнел круг чистой воды. За озером начиналась согра. Она упиралась в холм. Над холмом висело красное солнце.

— Не скучно вам живется? — спросила Наталья.

Широкое некрасивое лицо Лизы согрелось улыбкой.

— С Колей мне повезло. — Она легко вздохнула. — С ним и жить охота.

— Ладно, пойду я, — Наталья быстро поднялась, пошла обратно.

Во дворе под черемухой шумели пьяные мужики. Из огорода шел Бакулин, нес в горсти огурцы.

Наталья пробежала мимо крыльца за дом. Посередине огорода стояла яблонька. Наталья сорвала яблочко, надкусила — какое сладкое! А сколько их наземь нападало. Она присела на корточки и стала собирать яблоки в кучу. Внизу беспокойно пахло землей, ботвой огурцов, дынь и луком. Запах был густой, теплый и чуть кисловатый. Она услышала шорох. За яблонькой, в дальнем углу огорода Валентина и Митя рвали вишню. Валентина кормила Митю со своих рук, тот жмурился и гладил себе живот.

— Ты у меня быстро поправишься, — ворковала Валентина, — я тебя тут знаешь как откормлю...

Митя быстро положил руку ей на грудь и замер.

Наталья отвернулась, побежала от яблони в дом. На веранде танцевали. Иван, она успела заметить, мямл плечи круглолицей Ниночке.

За столами пели.

— Давай к нам, — махнула Таисья. Обняла Наталью мягкой рукой, колыхнулась, набирая воздух: «Зачем он в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой по-око-ой...»

— Тась, давай выпьем? — шепнула Наталья.

Таисья обернулась, подняла брови.

— Ну, давай...

Наталья торопливо выпила рюмку, сморщилась. Таисья сунула ей стакан с пивом.

— Давай другую, бабы, — крикнула Жданова и высоко завела: «То не ветер ветку клонит...»

Наталья немного шопела вместе со всеми, потом выскользнула из-под руки Таисьи и, стараясь не глядеть в ту сторону, где танцуют, проскочила через веранду.

Под черемухой, расставив на табурете стаканы, пили. Она опять убежала в огород. Из дальнего угла шли Валентина и Митя. Митя собирал с ладоши последние ягодки, Валентина отряхнула руки и, перейдя на тротуар, застучала каблучками по доскам:

— Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

А вместо вишен теперь веселый смех...

Наталья огляделась: напротив стайки стояла баня, и туда вела дорожка.

...Скорчась меж груды старых веников и кучи тряпья, она редела навзрыд, и ходило ходуном ее маленькое тело.

Хлопнув дверью, забежала Таисья:

— Ты что, из-за этой телки?

— Думаешь, она ему понравилась? — Наталья уронила прижатые к лицу руки. — Ему груди ее понравились. Ему большие надо, а у меня видишь какие?

— Нашла из-за чего реветь, — Таисья взяла Наталью за плечи, потянула на себя.

— Да это я так... Просто — ненавижу его. Ему бы только побольше заработать да пожрать. Ненавижу! Сил больше нет кланяться. Ах, какая счастливая пара...

— А ты чего стесняешься — заведи себе кого-нибудь!

— Умереть хочу, — сказала Наталья, — ничего не жалко. Только бы полюбить кого. Я, как минутка свободная, все время читаю. Как люди друг друга любят! Ты знаешь, я

Она неподвижно смотрела туда, где сочился из отдушины розовый свет. По щекам ее, тускло поблескивая, катились слезы.

Владимир Ширяев

Я у двери полуоткрытой
остановлюсь оторопело,
когда прекрасною Кипридой
возникнешь ты из белой пены.

И золотые льются косы,
и нежное лицо лучится.
И капли, словно колокольцы,
на розовых звенят ключицах.

— Спасибо, дочь воды и неба,
за исцеленья от печалей.
Но ты нахмуришься и гневно
сверкнешь державными очами.

— С тобой я скоро прачкой стану,
А ты мне про стихи, про Баха...
И окунешь с размаха в ванну
мою соленую рубашу.

О дети общежитий!
 Прошу вас, не взыщите
 за сей суровый быт.
 Он лучше, может быть,
 украшенных помпезно,
 зашторенных квартир.
 Быть может, и полезно,
 вступая в этот мир,
 знать: мир не позолочен,
 обставлен мир не очень,
 он ненадежен, тесен,
 но — безнадежно весел!

— И все же, друг почтенный,—
не знаю, как вас звать,—
на общежитских стенах
не надо рисовать!

Но речи мои всеу:
не слушает — рисует.
И странным украшением,
прохладен и колюч,
у пацана на шее
блестит английский ключ...

Железный мускул тигра в клетке дрябнет,
дух грациозности верблюжьей мертв.
Оленья ветвь недвижима, как грабли,
лишь попугай умен, надут и горд.

У обезьянки — на щеке слеза:
к мороженому тянется рукою,
за баки себя дергает другою, —
как будто маску хочет снять с лица.

Сергей, признаюсь я тебе:
писать порою стих
не легче, чем в глухой тайге
дорогу вам вести.

Нова ли мысль моя, стара ль,—
потею — будь здоров.
И стих, как будто магистраль,
тяну я с двух сторон.

Звезда мерцает мне сквозь мглу.
Иду. Преграда вдруг.
И я банальности скалу
метафорами рву!

Но, может быть, в конце концов
позорно б я сбежал,
когда заветное словцо
в запасе б не держал.

Его — серебряный костыль —
всажу в последний стык.
И весело одобришь ты:
— А что? Путевый стих!

Николай Калачев

ПРЕДНОВОГОДНИЙ РЕЙС

РАССКАЗ

Я брал путевку, когда, впустив клуб морозного воздуха, вошел механик колонны. Он оглядел раскосыми глазами шоферскую и, заметив меня, сказал:

— Синяев, звонили из управления, просили забрать двух молодых специалистов. Так что загрузишься — не забудь...

Я обрадовался: все веселее. Вслух же возразил:

— Вот еще не было печали! Сказал бы: девчат поджинь...

Шоферская вздрогнула от хохота.

— Тут бы Робка их враз оформил... — выделился бас Гошки Крюкова.

— Писсправимый ты, Синяев. Ботало, одним словом, — когда угас смех, сказал механик.

— Вот это верно, Маркович, — поддел опять Гошка.

Выехал я в отличном настроении. На улице темно и стоял густой туман. Через четверть часа я сигналил перед воротами складов ОРСа: Здесь меня ожидал удар: «бастовали» грузчики. Мороз, видите ли, свыше пятидесяти — работать на улице не положено. Я представил две машины, рассекающие туман далеко за городом, и меня аж колотун забил. Машины загрузили еще с вечера, и в одной связке с ними я должен был идти до геолого-разведочной партии. А теперь из-за этих алкашей отставал от напарников... и, размахивая

вая заявкой, я забегал от кладовщиков к грузчикам.

— Да вы что, мужики? Ведь сегодня двадцать девятое! Я же не успею к Новому году обернуться.

— Не могу приказать, — разводил руками грузный завскладом.

— У меня жена молодая, а я праздник в дороге буду встречать.

— Нам до твоей жены, Робка, как до тети Фени. Тем боле, они у тебя, считай, каждую неделю новые, — отдирая с черной бороды сосульки и отводя глаза в сторону, бубнил грузчик дядя Коля.

Наконец я понял, что за так просто этих забулдыг с места не сорвешь и применил безотказный прием:

— Ладно, мужики, черт с вами! С меня бутылка.

По... не тут-то было! Сев на стул, я закурил и уж совсем отчаялся, как дядя Коля сказал:

— Седни двойной тариф, Робка.

Меня чуть кондрашка не хватил от такой сверхнаглости, но... делать было нечего и, проклиная бригаду «ух», я побежал к завскладом, в сейфе которого всегда стояло...

К «управе» я подъехал злой, будто «Илюха» в августе.

— Кому тут в партию надо?! — заблажил я с порога, словно перед толпой народа, хотя

на диване под доской показателей сидело всего два человека: он — невзрачный парнишонка в большой волчьей шапке, и она — в мутоновой шубке.

— Нам, — фальцетом ответил он и схватился за громаду-чемодан.

Наконец-то, Ленчик, за нами соизволили подъехать. Я уж думала, мы до Нового года здесь просидим, — сказала мутоновая шубка и притронулась к волчьей шапке. — Помогите же даме, — ее глаза блеснули в полумраке.

— Однако заноза, — подумал я, беря чемодан. — По экземпляру что надо! — и невольно вскрикнул, чуть не уронив его.

— У вас здесь что? Камни?!

— Нет, — улыбунулась она. — Мы за камнями только едем.

Сразу за городом свернули на реку. Дорога — лента ледяная. Я нажимал и нажимал на газ; мотор ЗИЛка гудел ровно, басовито; впереди одна белесая муть да дорога, безлучно стелившаяся под колеса; в кабине северного исполнения тепло, как в доме. Вместе со скоростью ко мне вернулось хорошее настроение. Я снял шапку и посмотрел на спутников. Он сидел, нахохлившись, от всего отрешенный. Она держала свою песочную шапку на коленях, дымчатые волосы рассыпались по плечам, глаза полуприкрыты длинными черными ресницами.

Нана мой! Какая кошечка — эlegant! Так и хочется замурлыкать. Люблю баб! При виде смалливого личика во мне просыпается страстный собственник. Что поделаешь?! Се ля ми — как говорят французы. Парень я броский, девки липнут ко мне, как мухи на мед. А здесь какой-то заморыш отхватил такую картинку! Скажите на милость, и чем мог помочь?! А может, просто попутчики?..

И как такие красивые девчата не боятся тайгу суровую, а в придачу еще и Север дальний покорять в одиночку?

— Почему вы решили, что в одиночку? — Сбавилки-бровки дрогнули и поползли в мою сторону. — Леня — мой муж.

— Разве?! Такой молодой и уже муж! — слышны я и тут же подсластил: — Такая красавица и уже замужем! Красивым нельзя

выходить замуж. Они должны быть достоинством общества.

Она слегка скраснела, а Леня даже бровью не повел. Сунув руки в карманы полушубка, он смотрел прямо перед собой, но, я уверен, ничего не видел: он был здесь и его не было. Вообще этот парень производил на меня странное впечатление: я чувствовала свое превосходство, но временами он бы стоял как бы выше меня.

— Кстати, мы незнакомы, дорога дальняя... Роберт.

— Люба, — назвалась она и стрельнула в меня искусственно-восточными глазками.

— А знаете, Люба, я ведь недаром завел разговор о красивых. Трудно им у нас, бедняжкам.

— Почему?!

— Мало здесь женщин вообще, а красивых... и говорить нечего. Единички...

— Ну что из этого? По-моему, это хорошо. Больше внимания единичкам.

— Хорошо, да не очень. Если она не замужняя — ничего... нормально. А замужем — плохо...

— Почему? — опять спросила Люба и уперлась лбом в стекло. Заглянула мне в лицо. Глаза ее округлились.

— Крадут частенько. Вот недавно случай был. Муж на буровой неделю, приезжает, а жены нет...

На самом интересном месте я обрываю рассказ. Делаю вид, будто дорога не дает продолжить. Хочется подольше видеть ее лицо перед собой.

— А где же она? — нетерпение Любы велико.

— Выяснилось... через год. Было так: сидела в балке, скучала. Бах — стук в дверь. Открыла... кто-то ее на загорбок и... тягу. Ничего, год прожила в берлоге... пока деру не дала. У них, у медведей, тоже бедновато с женщинами. Особенно здесь, на Севере...

Несколько мгновений Люба недоуменно смотрит на меня и, откидываясь на спинку сиденья, вздох смеется. Лицо краснеет, на глазах выступают слезы. Достав платочек и зеркальце, она осторожно промокает слезы и машет на меня ручкой:

— Ой! Шутник ты, однако, Роберт!

Ее «ты» придает мне прыти. Я вошел в азарт — не остановишь: сыпал анекдотами, перемешивая их былыми и небылицами из северных сказов-побасок. Люба весело смеялась, всплескивая белыми ручками. Леня молчал и изредка поворачивал в нашу сторону хмурыми глазами.

Мне теперь не хотелось догонять впереди идущие машины; я не прибавлял газу. Дорога, меж тем, отвернула от речки. Прояснило, туман исчез. Ехали логами. По сторонам мелькали сопки, горы, поросшие чахлым лесом. Вспугнули семейство лосей. Люба восхищалась дикой природой, захлебывалась смехом, слушая мой треп. Леня молчал, катая желваки.

Стемнело; включили фары; сопки исчезли; осталась одна дорога впереди — узкая, в нож бульдозера, поворотистая. В перерывах между поворотами я заливался, будто глухарь на току, а на поворотах задевал локтем, словно ненароком, Любину грудь, прикрытую пубкой. Мое колено гладило ее ногу, и я чувствовал ответную ласку.

Обстановка и время работали на меня.

До заезжего время промелькнуло незаметно. Машин у дома не было, по-видимому, они пошли напрямиком. Я решил ночевать здесь.

— Избушка тут на куриных ножках... — продекламировал я. — Вы-ы-гру-жайсь! — И, оставив машину на малых оборотах, первым вошел в балок. Засветил лампу-десятилинейку. Весь угол около печки был завален дровами. — Затопливайте печь, — сказал я вошедшим Лене и Любе.

Выйдя к машине, я достал из укутанных спецодеждой ящиков две бутылки «Рислинга», осмотрел заодно крепление груза, проверил горячее, а когда вернулся в балок, «буржуйка» всюю уже гудела, выбрасывая в белый свет колесо за колесом. Люба в синем свитере с бело-красными цветами стояла у печки, грея над плитой руки. Леня хлопотал над столом.

Мне хотелось быть таким «королевичем». Эффектным жестом фокусника я поставил вино на стол и заметил в Любиных глазах приятное изумление.

— Да развеселит и обогреет нас божий дар!..

— Зачем это?! — первый раз за дорогу поддал голос Леня. — Ведь там, наверное, люди ждут это вино.

— Ждут и дождутся, — обрезал я. — Мы такие же люди, — а сам подумал: «Те люди не тебе, сопляку, чета».

Он отказался пить вино.

Мы с Любой сидели друг против друга, потягивали кислотоватую прелесть земли болгарской и болтали. Она мне про Москву, университет, о папе, профессоре геологии; я ей — о Севере и настоящих людях, и про пединститут, показывая, что и мы не черными нитками шиты, хоть и барабку крутим, — словом, вели светский разговор, «как белые люди». Леня же, устроившись на широкой лавке под лампой, висящей на оконном косяке, ероша свои светлые волосы, шевеля губами, тоже как вполне приличный человек, читал толстый grosbux.

Было довольно поздно, когда Леня, раскинув постели себе и Любе, вышел на улицу.

— Что ты наша в этом парне?! — спросил я Любу.

— В Ленчике? Ленчик та-ла-а-нт! — Она удивленно посмотрела на меня черными глазами, как будто у него на лбу написано, что он талант, а я до сих пор не прочитал. — За ним не пропадешь. После защиты дипломной завкафедрой, доктор наук, расцеловал его при всех. Ленина работа оказалась научным открытием, и его оставили в аспирантуре. Сутками пропадал он в институте. А недавно пришел весь какой-то взъерошенный и сказал: «Ученый без практики — тепличный цветок. Ты как хочешь, а я еду...»

Я покачал головой.

— Да-да, — заметила она мое недоверие. — Папа сказал, что он прав, и велел мне ехать с ним.

— Чтoб он не сбежал?

— Да, — просто ответила Люба.

Я изумился ее неприкрытому молодому цинизму, но тут же оправдал: «Рыба ищет где глубже...» — и влился долгим поцелуем в ее податливые губы...

Дверь закричала. Мы едва успели отря-

чуть друг от друга. Не глядя на Ленчика, я встал и, зевая, сказал:

— Пойду в машину. Здесь не сон, а так — фикция: ежечасно вставай — «лайбочку» проведи, — и заметил, как Любины длинные ресницы дрогнули. «С понятием бабенка», — обрадовался я.

Ленчик снимал с себя полувер. Обернувшись от двери, я показал на окно, за которым сошел «двигун» моей машины. Ее губы шепотнулись. Пожелав спокойной ночи, я вышел.

На улице месяц с ущербинкой, скособочившись, смеялся над причудливыми тенями, что отбрасывали деревья и горы, и снег, подыгрывая ему, мигал голубоватыми пересверками. Потеплело. Воздух — словно квас в жару. Я нис его, пока не продрог. В кабине попытался выдремнуть, но образ Любы не давал спать. Со мной всегда так: стоит захотеть какую-либо вещь — и она постоянно торчит перед глазами.

Люба пришла, когда звезды поблекли. Без шапки, в шубке, брошенной на рубашку, она молча забралась в кабину и тяжело вздохнула.

— Что случилось, Любаша? — обнял я ее плечи.

— Хам! Деревня... — всхлинула она и, как ребенок, которого, обидев, тут же пожалели, уткнулась холодным носом мне в шею.

Я бережно перебирал волосы, легонько, чуть касаясь, целовал ухо и солоноватую щеку. Женщина, что гитара, не настроишь — не поиграешь.

— Как был лаптем, так им и остался, — говорила она. — Свиный обзовал. Ты, говорит, Любка, до неприличия отвратительно себя ведешь. Как свинья! — Люба шмыгнула носом, потерла глаза и уже спокойнее добавила: — И этот, говорит, шофер — тоже гусь, родня тебе родная...

— Так он спит?..

— Спит, как младенец! Он всегда крепко спит.

— Вот плебей! — возмутился я, не то, что бы очень обиделся за «гуся», а просто для поднятия Любиного тонуса.

И больше о Лене мы не говорили...

Рассвет окутал чернотой лес, горы, избушку и машину; звезды исчезли, луна побледнела и вокруг стало серо и неприглядно, и серая усталость легла мне на плечи. Проводив Любу, думал: не донесу головы до сидения. Донес, а сна нет. Курю... Вроде все было как всегда и в то же время как будто меня обманули: показали шоколад «Люкс», а в рот сунули обыкновенный леденец. Нет, партнерша — изюминка, каких поискать. Лентяй!.. Тьфу, чепуха! Не я — другой бы был...

Просыпаюсь от надоедливого стука топора. С раздражением смотрю в окно: бледно-красное, будто тоже невыспавшееся, солнце неспешно выкатывалось из-за ближайшей сопки; у крыльца Лентяй колет дрова. «Назло что ли громыхает? Знает ведь, что сплю. И зачем ему эти дрова потребовались?..»

С большими листовичными чурбаками Лентяй управлялся запросто: ставил чурку на «попа», взмахивал топором и... «х-хак!» — чурка со звоном разлеталась пополам. А уж превратить половинки в поленья для него было секундным делом.

Присмотревшись, как споровисто, со знанием дела, аппетитно, Лентяй колет дрова, я почувствовал симпатию к этому, по словам Любы, «хаму».

— Дров не хватило? — спросил я, подходя.

Его большие синие глаза скользнули по мне, как по пустому месту, и тихо, лишь из вежливости, он ответил:

— Есть такое правило: сделай все, чтоб идущему следом было легче.

Еще вчера я ответил бы ему какой-нибудь грубостью — вроде: «Ну и салажата пошли! Не успеют соску выплюнуть — уж все законы знают». А сейчас мне тягостно было смотреть в детски чистые глаза, и я молчком, набрав охапку дров, пошел в балок.

На исходящей жаром печке клокотал чайник. Люба стояла у кровати и причесывалась. Ее глаза при моем появлении брызнули радостью, а я, словно не заметив ее, кинул дрова к печке и снова вышел на улицу.

Вместе с Лентей мы сносили в заезжее все наколотые им дрова.

За чаем я молчал. По обыкновению, молчал и Лентяй. Одна Любчик болтала без умолку.

И опять дорога.

Тумана не было. А дорога была все та же: петляла поворотами среди деревьев по увалам; мелькали горы стадами лесов и серыми проплешинами гранитов на снегу. Все по-прежнему и как-то по-другому.

Я по-прежнему крутил баранку, но... молчал. И Леня молчал, только в его больших старчески-мудрых глазах, где раньше была детская непосредственность, копилась тоска, как будто он давно понял о жизни такое, о чем я лишь начинал догадываться. А Любчик, словно заведенная, молила на крупу и на муку, поворачивая ко мне смеющееся лицо. Она задевала своей коленкой мою, вызывала на ласку. Это меня раздражало. Я старался как можно дальше отодвинуться от нее, притискиваясь к дверце кабины — не помогало. Перед глазами маячило и маячило ее лицо. В словах, глазах, жестах — во всем ее облике сквозило откровенное, ничем не прикрытое желание повторить прошедшую ночь.

Под вечер Леня не выдержал:

— Останови машину, — и, обойдя ЗИЛок спереди, открыл мою дверцу. — Выйди, Роберт. Поговорить надо, — спокойно попросил он.

Я сошел на землю.

— Знаешь... ты подонок... — вдруг басом сказал Леня и добавил не гениальное и совсем не литературное слово, а маленькая рука, сжатая в кулак, стала приближаться к моему лицу.

Я попытался было перехватить руку, но от резкой боли в животе согнулся буквой «Г», в следующее мгновение щелкнули мои зубы, и я стукнулся головой о накатанную колею дороги.

Когда я встал, Леня шагал уже далеко от машины. Его догоняла Люба. На ходу он что-то отрывисто сказал ей, отчего она дернулась, словно от пощечины, и потерянно остановилась посреди дороги.

Подобрав плачущую Любу, я догнал Леню и посылал. Он оглянулся, показав крупные зубы: иди ты, мол... И долго, пока он не скрылся за поворотом, я смотрел в зеркало заднего вида за щупленькой фигуркой, решительно и зло рубящей шаг руками.

Это случилось на шестидесятом километре от базы партии.

И опять дорога.

Люба, уткнув лицо в шапку, лежащую на коленях, плакала. Я старался не смотреть на нее — смотрел на дорогу, которая извертелась петлями и в синих сумерках казалась безмерным удавом, испятнавшим тайгу кольцами. И на этой дороге представлялось мне: щупленькая фигурка решительно и зло рубила шаг руками. Гудела голова, побаливала челюсть, но все это ченуха! Главное — мне страшно хотелось догнать эту фигурку и посадить в кабину, либо на каком-нибудь повороте боднуть лиственницу и... груды головешек. Педадь газа стокала под ногой; двигатель ревел басом; сердце на каждом повороте твердило: «Здесь... Здесь...» по привычные к дороге руки, не слушая, уверенно крутили руль, выжимали сцепление, переключали скорости, а ноги вовремя давили тормоз и сбрасывали газ.

Из трапса меня вывела Люба.

— Роберт, включи, пожалуйста, свет.

Врубил освещение в кабине, заодно и фары и — о, женщины! Видимо, они в любом случае остаются женщинами. Она достала из сумочки платочек, смочила его из флакона — к стойкому запаху бензина примешался запах лосьона, — тщательно протерла лицо, шею, попудрилась перед зеркальцем и принялась за восстановительные работы в части губ, бровей, ресниц.

Я полагал, что после такого «тайфуна» человеку, находившемуся в самом его центре, придется долгое время приходить в себя, но тут!.. Не прошло и часа, а от слез не осталось и следа. Видя ее гранитное спокойствие, я и сам успокоился и теперь даже «восхищался»: я гусь, но уж эта-то... гусыня из гусынь!

Пока я размышлял, гусыня почистила перышки и, спрятав все «специи» в сумочку, деловито спросила:

— Что дальше будем делать, Роберт?

«Мы? Ба-а-а! Без меня меня женили...» — поперхнулся я.

— Что Вы... я не знаю, а я сброшу товар и... домой.

И достал из «бардачка» сигареты (вообще-то курю я очень редко). Она тоже протянула и даже белую руку, длинными красными ногтями прищипнула сигарету и, прикурив от моей сигарки, с наслаждением затаилась.

Ты женат?

К счастью...

Хам! — спокойно констатировала она.

Конечно, но и ты... не шоколадка.

Больше мы не разговаривали.

На последнем перед поселком подъеме, крутом и затяжном — в черное небо взметнулись столбы света — навстречу шли машины. Они то ныряли в распадок, то взлетали на излобок, и огни исчезали и вновь бороздили черноту и, наконец, замерли на месте. Видимо, машины завернули в «разъезд». Я проезжал мимо, а фары весело мигали. Что же ты, мол, браток, припозднился? Давай, давай — жми...

Вывершили перевал. Десять минут бешеной гонки по хребту — и налево внизу замельтешили огни поселка. Проскочив контору, склады, радиостанцию, я затормозил у общежития. Сгрузил и занес в коридор чемоданы.

Комendant живет — вторая дверь направо, — объяснил Любе. — Устраивайтесь.

— Спасибо. Вы очень любезны, — холодно, с достоинством, поблагодарила она, но расстроенное лицо говорило о другом.

На миг я вообразил, что может переживать человек в ее положении, и мне стало искренне жаль ее.

— Надумаете обратно — мой лимузин до города в вашем распоряжении.

— Я подумаю, — тихо ответила она, а я затопал в противоположный конец коридора к грузчикам.

В большой комнате грузчиков дым стоял колом. Местная бригада «ух» в полном составе сидела за столом. Каждый находился в том состоянии, когда нет милее рядом сидящего. Томил — как на птичьем базаре. Говорили все разом — никто никого не слушал. (В партии бытовал «сухой закон», но, наверно, те машины тоже были с праздничным грузом, да и дело шло к Новому году). При моем появлении закричали:

— О-о-о! Роберт...

— Маэстро! Что привез?..

— Разгружаем только праздничный...

— Садись, Роберт. Согрей уставшую душу...

— Да-да, храни в честь Нового...

Я прошел к столу.

— Спасибо, ребята. Но мне нельзя. Спешу.

— Гляди, черепки! — заорал молодой бордатый «бич» по прозвищу Маэстро (это было его любимое словечко), сидящий во главе стола. Он стукнул увесистым кулаком по столу, призывая коллег ко вниманию, и, тряхнув рыжей гривой, продолжал: — Сей аристократ брезгает нашей честной компанией. Как вы на это? А ты, маэстро, — он ткнул в меня пальцем, — знаешь, что положено за сверхурочную работу?

Меня затрясло, но я спокойно ответил:

— Двойной тариф.

— Во! Черепки! — восхитился Маэстро и поднял палец-сосиску в потолок. — Все знает. Наш человек! Паливай ему, маэстро, — толкнул он плечом соседа, — штрафной и никаких делов!..

Я завернул на койке матрац, перебрался к Маэстро, схватил его левой рукой за грязные отвороты синей, в белую полосочку, рубахи, а правой сгреб со стола непечатую бутылку «Рислинг».

— Двойной тариф. Но ты не получишь ни двойной, ни одинарный, — паматывая на кулак рубаху и подняв бутылку над его головой, сказал я. — Или ты сей момент, дорогой Маэстро, похилинешь к завскладом, чтоб он открыл свою богадельню, или... — еще мгновение и я опустил бы бутылку.

«Бывшего интеллигентного человека» не испугала бутылка. Просто он понял, что мне действительно не до шуток и, поднявшись, как тискама стиснул мои руки, отобрал бутылку. С его обветренного лица схлынула краска, по обеим сторонам крупного носа проявились мелкие веснушки. Он разгладил на груди рубаху и сказал с обидой:

— Дурак ты, маэстро! Раз надо — так надо. Какой разговор! А то сразу за бутылку. Деятель!.. — и полез через койку к двери.

Уже давно в комнате стояла тишина, а тут загомонили.

— Ша, хлопцы! — похлопал ладонью по столу дядя Коля, местный мужик, чернявый, пожилой, но без бороды. — Раз надо, так надо. Какой разговор! — повторил он слова Маэстро. — Разгрузим! — и все задвигались, застучали табуретками, вставая.

У склада я подпятил к подтоварнику. Пришел завскладом. И пока он, бренча ключами, отпирал двери, мне снова привиделось, теперь уж на ночной дороге щупленькая фигурка в длинном полушубке, решительно и зло рубящая шаг руками... Я воткнул скорость и, словно наскипидаренный, рванул в гору, туда, откуда только что приехал, а следом через открытое боковое окно неся затухающий крик дяди Коли:

— Куда ты, оглашенный?! Сгружать сам...

И снова стонала педаль газа, выл двигатель, мелькали в свете фар лиственницы и г. Междуреченск

большие сугробы, беряги кедрового стланика, и на поворотах меня, как пьяного, заносило из стороны в сторону.

У подножия перевала из ложка полоснули в гору огни встречной машины. Я вертанул баранку выравно и пошел обочь дороги по целику. На крутике не боялся мой вездеход снежной целины.

Когда до машины оставалось несколько метров, в какую-то долю секунды я рассмотрел в ее лобовом стекле знакомую волчью шапку. «Поздно!..» — и моя нога резко даванула тормоз, голова упала на «пишку» руля, и велед уносящемуся на перевал реву протяжно заклаксонил мой ЗИЛок...

Долго я сидел, уронив на руль голову. Спешить теперь было некуда. Не моя, чужая машина довезет Ленью до жилья, а мне... Мне хотелось так много ему сказать...

Татьяна Андреевская

* * *

Здесь ни даты, ни имени даже,
он, она ли, схоронены кем?
Лишь звезда кровянится на страже
у березовых плачущих стен.

Простучит ли по насыпи поезд,
запоздалый ли путник пройдет,
беспокоясь, за все беспокоясь,
неистлевшая память живет.

г. Прокопьевск

И во всем, в суете повседневной,
в каждом шаге и в слове любом
эта верная сила бессменно
у любого стоит за плечом.

Чуть я слово жесткое брошу —
и укором глядит сквозь года
с неизвестной могилы заросшей,
как судья и свидетель, звезда.

Сергей Побокин

СКИФЫ

Степь кострами надымил скифы,
Стрелами пророс тугой козчан,
В тучах перья уронили грифы —
Пьян кумыс, кочевник сытый — пьян!

г. Анжиро-Судженск

Поднял он кому-то лук на горе:
Цель вдаль заманчиво ясна,
Юноша стрелу вонзил в просторы —
Со спины прошла его она...

ГРИНЯ

РАССКАЗ

Ну и дух от тебя, Григорий Матвеевич. Главный инженер поморщился и пошатнулся перед носом только что написанной бумажкой. — Прямо букет Абхазии, не иначе. Не продохнешь.

Григорий тут же встал из-за стола, запахнул полушубок и обиженно выпятил губы.

А при чем тут букет Абхазии? Я не цыготок, не хочешь — не шюхай.

Главный инженер улыбнулся.

Рад бы, да волна больно стойкая. До букета Абхазии правда далековато, ты на это не обижайся. Чую, наш букет. Местный. Шерешкая смесь, однако ж: пиво, водка, — главный инженер загибал пальцы, — самогон, брага, а сверху — лук. Определенно наш букет. Тутюшний. Правильно я мыслю, Григорий?

Тот понял, о каком букете идет речь, смущенно пожал плечами и неопределенно ответил:

— Ну-у-у... Где-то так оно.

— Давай-ка заканчивай с этим, — уже серьезно произнес инженер, — хватит. А то ведь так черт-те до чего дойти можно. Всего не перепьешь.

— Да ла-а-дно, — отмахнулся Григорий Матвеевич, — знаю.

— Ты мне не «знаю», а кончай. Не мальчик. Значит, так. Вот тебе требование. Придешь в «Сельхозтехнику», зайдешь к начальнику. Скажешь, от меня. Понял? Машину не посылаю потому, что не стоит из-за одной детали гонять. Больше бензину сожрет, чем сама железка стоит. Ты, я думаю, к вечеру управишься.

— Ворочусь, — буркнул Григорий Матвеевич, спрятал документ во внутренний карман пиджака и вышел из кабинета. Потом вдруг вернулся, открыл дверь и прямо из коридора сказал:

— Ты, это... форточку, значит, открой. А то ведь про тебя подумают.

— Открою, — усмехнулся главный инженер. — Езжай.

— Ну ладно. — Гриня прикрыл дверь, постоял немного и направился к выходу.

На улице было не холодно, шел снег и малость метелило. Григорий Матвеевич подошел к лошади, запряженной в застланные сеном розвальни, похлопал кобылу по шее, потом отмотал от столба вожжи, сел в сани и тронул.

Снег под полозьями приятно посвистывал, ветер дул в спину, под тулупом лежала чечушечка белой, хлеб с луком, и от всего этого на душе у Грини тепло и покойно. Лошадка шла легкой рысью, и Гриня не понукал: знал, что к обеду в райцентре он будет.

Санний путь тянулся вдоль шоссе, съездов да переездов не было, и Гриня, приспустив вожжи, лег на живот, подобрал под грудь сено, сунул ноги под тулуп и задремал.

Проснулся оттого, что кто-то сходу сел ему на ноги. Это было так неожиданно и больно, что Григорий Матвеевич вскрикнул.

— Да чтоб тебя... разъязви... в душу...

— Не бойсь, Гриня, — услышал он спокойный басовитый голос. — Я это.

Гриня перевернулся, увидел перед собой совхозного тракториста Сергея, но не успокоился.

— Да мне-то хоть кто! — выкрикивал он, — ты, это, с неба свалился? Ослеп, что ли? У меня ведь не протезы, как ты думаешь? Ноги! — И Гриня для убедительности постучал кулаками по валенкам. — Ноги! А он, как булыга, ей богу. Хлобысь! И здрасте, — это я — Сережа, не сердчай, мол.

— Да ладно, Гринь. — Сергей даже не оправдывался. — Что я, нарочно, что ли? Тебя-то еле заметил. Закопался, как мышь, да еще

снегом припорошило, и бухтишь чего-то. Скажи спасибо, что на голову не сел.

Гриня от неожиданности приумолк и захлопал глазами.

— Ничего себе! — удивленно проговорил он, — нет бы извиниться, а он наоборот! Я к тебе в сани лез, — рывкнул Гриня, — или ты!?

Сергей спорить не стал, промолвил только: «Горлопан», — и отвернулся.

С полчаса ехали молча. Потом Григорий Матвеевич остановил лошадь и стал раздумывать, как лучше ехать: через лес, или так тянуть вдоль шоссе. Скучным показался ему путь вдоль шоссе. Пустым. Он покаряхтел, поскреб затылок, спросил, не обогриваясь:

— Как поедет-то, лесом... или так ж?

— Лесом давай, — ответил Сергей, — лесом ближе.

— Ну, лесом так лесом, — согласился Гриня. — Но-о! Пошла! Пошла! Но-о!

Скоро доехали до леса и снова остановились.

— Перекусим малость, а? Ты чо всю дорогу молчишь? — Гриня подтолкнул Сергея в спину. — Тебя же спрашиваю.

— Слушай, Гриня... — недовольно проговорил тот, — ну чего тебе, спеть, сплясать или фокус какой-нибудь показать?

— Фокус ты уже показал, больше не надо, — Гриня пошарил под тулупом, — а ты чего сразу на дыбки встаешь? Кислый какой-то, будто бы муху проглотил. Никак с Валюхой своей поцанался?

Ответа не последовало, и Гриня все понял. «Так оно и есть. Поцанался Серега с женой», — подумал он и как будто бы даже повеселел.

— Поругался — это мне понятно, чего тут не понять, а вот поехал зачем, не понимаю. Либо проветриться, либо же насовсем, — вслух размышлял он, доставая свой провиант. — Насовсем, конечно, негоже. Но тут опять заковыка: смотря как полагались и кто кого расчеховстил. Опять же заковыка — давно ли вся эта заваруха...

— Хорош! — прервал Гринины размышления Сергей. — Философ, тоже мне. Насколько

я понял, ты перекусывать собирался, вот и давай.

— А ты не сердчай, Серега. Я же ничего лишнего не загнул. Если что не так, скажи. — Он малость помедлил и протянул трактористу наполненный водкой маленький гра-ненный стаканчик.

— Па-кошь, прими. Успокой душу. Помогает.

Сергей хмыкнул, но стаканчик взял и не торопясь выпил. Выпил и Гриня. После второй Сергей развязал свой рюкзакишко, вынул солдатскую алюминиевую фляжку, побулькал содержимым перед ухом и протянул Григорию Матвеевичу.

— Разливай. Правда, самогон. Но ничего, крепчайший, стервец.

Приложились еще и поехали дальше. Сергей раскраснелся, придвинулся ближе к Гриня и тихо заговорил:

— Вообще-то ты прав, Гриня. Кстати почему тебя все Гриней зовут? Нет бы «Григорий Матвеевич», ты же в годах. А то — «Гриня».

— Да мне как-то все одно. Жена меня Гриней зовет. Раньше, бывало, на всю деревню орала: «Гри-иня! Я на коровник пошла! Ключ под тряпкой!» Смех и грех. Потом кто ни встретит, каждый подсказывает: «Все нормально, мол, ключ под тряпкой, а Зинаида в коровнике. Не забывай, Гриня, под тряпкой ключ». Смех. Ну и пошло — Гриня да Гриня. Так что у тебя с Валюхой-то?

— Да глупость одна. Надоело. Пацанов только жалко, — вздохнул он. — А Валюху — нет, — решительно рубанул Сергей. — Ну до чего за последнее время стервозная баба стала, ужас. Ты понимаешь, — Сергей сел рядом с Гриней и взял у него вожжи, — понимаешь, ко всему цепляется. Как репей. Например, летом было. Присели мы с мужиками на нашей скамейке, с работы шли, ну и присели. А тут она с коромыслом от колодца плетется. Проходит мимо и, будто бы я ей мешаю, — шарах ведром по плечу. Всего водой окатила. «Ты чего?» — спрашиваю. «А ничего, — говорит, — расселся здесь. Барин! Нет бы воды принести. Твои же портки стираю». А я после работы, ну только-только.

Вот ведь дуреха. Ну, раз так, ну, два, еще стерплю. А уж потом... ругань, конечно. Давай еще выпьем.

— Давай...— Гриня доставал стаканчик, разливал самогон, пропускали по рюмочке, молча дожидались, пока достанет, зажжет, значит, в желудке, и продолжали беседу.

— Ну, вот. Теперь — телевизор этот. Как насмотрится передача про семью и школу, и начинает зудеть: «У людей как у людей, все могут для ребятнишек сделать: и кольца в доме, и турник, и стенка шведская. А у тебя руки не с той стороны растут». Ты понимаешь, что удумала, — возмущенно размахивал руками Сергей, — шведскую стенку в дом! Турник! Нашей-то ребятне, деревенской, зачем все это, а, Гриня?

Гриня пожал плечами.

— Нашим пацанам и вправду ни к чему. У них каждая суковина на дереве — турник. Опять же топором с детства малют. Да мало ли работы в хозяйстве. Ну лыжи, конечно, нужны, а стенку-то зачем в дом тащить? Швеция — это навряд ли лестницы, что ли?

— Ну да! — с радостью, что его понимают, ответил Сергей, — только шире. В городе, конечно, можно, там во дворах пусты-ы-нь! Податься некуда. А если где и есть площадки, то все равно все в дом тащат. Интеллигенция, — саркастически вывел Сергей. — Вот он сидит, сидит в своем институте, интеллигент этот, до мозолей вот здесь, — он похлопал по тому месту, где, по его мнению, у интеллигентов мозоли, — потом приходит домой и сразу в ванную. Душ принимать. Это у них модно: «Я пойду душ приму, — говорит, — освежусь». У меня свояк так делает. Я как к ним приезжаю, так он первым делом спрашивает: «Душ-то еще не принимал?» — а меня зло берет. И моя тут же сидит, улыбается ехидно. Мол, какой там душ, деревня же. А сама-то! Тыфу! — Сергей говорил обстоятельно, с передышками. — Но я свояка четко отмазываю, чтобы не приставал. «Я, — говорю, — баню вчера принимал. Это, конечно, не душ, но освежает». Молчит, не на того напал.

— Я так понимаю, — хитро прищутив глаза, продолжал Сергей, — заходит этот интелли-

гент в ванную — не свояк, это я в общем, — разденется догола, посмотрит на себя сверху вниз и вспомнит, что мужик он. Не зря же... Ну ладно. Короче, стыдоба его берет, и он сразу же после освежения начинает изобретать: за молоток хватается, если находит, турники делает, стенки ставит шведские... — мужик же, куда с богом. Жена, конечно, ах да ох, какой у меня супруг!.. — и пошла всем рассказывать. В конце концов до телевидения доходит. Там тоже: «Ах! Как это интересно! Пойдем-ка спим его». Опосля весь народ смотрит и в ладоши хлопает, бабы в основном. «Уникально! Здорово! Вот это мужик!» А я как дурак в это время, в мороз, траки меняю на тракторе. Кувалдой машу. Пет бы кольца да турники мастерить, а я траки меняю. — Сергей аж зубами заскрипел, до чего ему этот воображаемый интеллигент в голову влез. Кажется, появившись он тотчас перед ним, убил бы наверняка сходу. Чтобы воду не мутил. Семейную жизнь не разлаживал.

Гриня, видя такое дело, принялся успокаивать тракториста.

— Чего ты так убиваешься? Плюнь, Серега! Здесь ведь понятие иметь надо. Для города эти вещи, я думаю, нужные. Чтобы хилляки не росли. Кумекаешь?

Серега кумекал, потому как в ответ серьезно кивнул.

— Во-о, — продолжал Гриня, — а то ведь чахнут в городе-то, на корню гниют. Там же дыму одного, дыхнуть негде. Курить не надо. Мы вот курум, может, от избытку кислорода, а они — черт его знает, отчего. Форсят больше. А ты плюнь! Далась тебе эта стенка.

— Так ведь моей-то не объяснишь, — горячился Сергей. — Докажи попробуй.

— Значит, ты ей объяснить толком не можешь. С ходу шмутки свои в мешок — и полетел. Не-ет. С бухты-барахты такие вопросы не решаются. — Гриня приумолк и зыркнул на флягу. — Ну-ка поглядим, что мы еще имеем для души?

Для души еще кое-что оставалось.

— О-о-о! Давай-ка, Серега.

— Давай.

Остановились. В лесу было тихо. Ветер шел по верхам, чуть шевелил голые ветки деревьев, а снег неслышно опускался на сани и уже прикрыл Гринин тулуп махровой блестящей россыпью. Ездоки донили самогон, похрустели лучком и тронули дальше. Гриня, подогнув под себя ноги, сидел впереди, а Сергей подложил под голову свой «холостяцкий» рюкзак, укрылся тулупом и как-то обреченно промолвил:

— Знаешь, заметил уже, как на улице ненадождь, так у меня хмарь на душе,— сказал и натянул на голову тулуп.

А Гриня думал. Он любил думать, особенно после выпивки, потому что больно складно все получалось в думах-то. Сейчас его мысли вертелись вокруг Сергиной жизни. «Ну, уедет мужик. А куда? Два ребятенка по хате бегают. А там, новую жизнь начинать, суд-пересуд, алименты. Пацаны вскорости про отца спрашивать начнут. Валуха-то поначалу, пока они еще глупые, врать будет, а потом горе. Хоть ври, хоть не ври, все одно — горе.

Запурхается баба без мужика. И замуж вряд ли кто ее возьмет с двумя хвостами. А путных мужиков сейчас раз, два — и обчелся. В общем, не дело это. Не дело», — он развернул лошадь на сто восемьдесят градусов и стал погонять, похлестывая.

Лошадка пошла хорошей рысью, весело пошла, с охотцей, чувствует скотина, что к дому погнались. А Гриня не объяснял себе, почему он так сделал, зачем назад повернул, он решил просто: «Жизнь молодая, и калечить ее по пустякам нечего. Кто его знает, как она еще повернет, жизнь-то, какие еще фортели выкинет. У меня тоже всяко бывало, но не в омут же головой из-за стенки какой-то. Привезу горемыку этого, а там будь что будет. Во всяком разе, хуже не станет. Это точно. А за деталью можно и завтра сгонять, не сгниет. Жизнь не железка,— вывел он, поглядывая на уснувшего тракториста.— Умаялся,— усмехнулся Григорий Матвеевич,— пусть поспит, пусть, а я ему — сюрприз».

За час добрались до деревни. Гриня соскочил с саней, быстро прошел через маленький дворик и смело отворил дверь.

— Здорово живете,— громко, на всю хату поздоровался он.

— Ба-а! Гриня к нам,— весело отозвалась Серегина жена,— здравствуй, здравствуй, ну, заходи. Валенки только обмети, венник в сенях.

Гриня вышел в сени, стряхнул с воротника снег, обмет валенки и опять вошел в дом. Остановился и, не зная, с чего начать, стал мять в руках свою палку. Не то ожидал он увидеть в избе. Ему выделось другое: заплаканная и несчастная жена, грязные, голодные ребятишки, цепляющиеся за ее подол. Но этого не было. Младший возил по комнате большую красную машинку, которая сильно тарахтела колесами, и с ее кузова постоянно падали деревянные кубики. Старшего Гриня не заметил. Сама хозяйка лепила на кухне пельмени и пела какую-то песню. Гриня оглядел комнату — шведской стенки и турника не было. Прав был Серега.

— Гриня! — позвала Валентина, — иди на кухню. Ну, что у тебя за дело? — спросила она, когда Гриня предстал перед ней. Грине было неловко. Он мялся, как палководивший ребенок, и не видел, с чего начать разговор.

— Я... это, — наконец произнес он, — насчет мужика твоего. Где он?

— Ушел, — спокойно ответила Валентина, — взбренило в голову, вот и подался. А тебе-то он на что?

— Да нужен... по делу. Далеко ушел-то?

— Кто его знает, — Валентина недоуменно покачала головой, — далеко, наверно, не ушел, придет! Впервой, что ли. Ему же, знаешь, все не так да все не эдак. Почему при гостях с ним так разговариваю, а без них по-другому. Почему платье в доме надсаваю поношенное. Ему, вишь, надо, чтобы глаз радовало. Ну чтобы все, как по телевизору кажут. Насмотрится всякого и начинает: «Жена всегда должна радовать мужа, правиться ему, не зря же показывают и говорят». Ну что это, дело ли? Вот, к примеру, сейчас я пельмени стряпала, так что же мне, в кримплен одеваться? Заносит его после телевизора. Частенько заносит.

Гриня опешил. «Вот так делишки. Ну и ну, — думал он, — как же теперь?»

— А швецкая стенка?— в лоб спросил он. Валентина рассмеялась.

— Рассказал уж. Успел. Ну и трепло. Это ж я ему назло, Гриня. Он мне про платье, я ему сразу про стенку. А так, на кой черт она нужна, сам подумай. Ее ж прицепить-то некуда. Да ерунда все это. Ты подожди, придет скоро.

Сергей пришел действительно скоро. Он ввалился в хату и взял Грину за грудки.

— Привез, значит. Пожалел!

Гриня вырвался, нахлобучил шапку и крикнул:

— Дураки вы оба! Изгаляетесь друг над другом, за что? Дураки! Выкиньте телевизор тогда, нечего первы тренать.— Гриня направился к выходу и услышал, как сын настоятельно требует у отца командировку:

— Пап! Ну покажи командировку, ну покажи! Она больная? Ты привез командировку?

— В следующий раз привезу,— ответил Сергей.

...Главный инженер еще издали заметил санный экипаж и теперь стоял посереде до-

г. Новокузнецк

роги и ждал. Поравнявшись с ним, Гриня натянул вожжи, экипаж стал, а сам кучер вдруг начал чего-то искать под тулупом. Бормотал под нос что-то невнятное и искал. Но под тулупом ничего не оказалось. Гриня разочарованно развел руки в стороны, с грустью глянул на инженера и виновато проговорил:

— Нету! Все перерыл... а нету. Вот ведь штука какая.

— Чего нету-то, Григорий Матвеевич?— с укором спросил главный инженер, потом глубоко вздохнул и сел рядом с Гриней.

— Эх, Гриня, Гриня! Я с тобой, как с человеком, а ты. Опять букет Абхазии?

— Опять,— ответил Григорий Матвеевич и отвернулся.— Опять букет, да еще какой букет-то, сам черт не разберет. Посылай машину, вернее будет. А то и сани не скользят, и лошадь не идет. Беда, да и только.

— Ладно уж, трогай,— главный инженер хмурился и глядел на дорогу,— трогай, трогай. Поехали. Тихо поехали, не торопясь.

Валерий Берсенов

ВЗРЫВ

Взрывник отбросил шнур:

Пора!

Удар!

И— гул камней

На убыль.

И я сказал:

— Ну, что ж, гора,

Прости, гора, нам нужен уголь.

Есть просто жизнь и нет чудес,

Но будет то же, что сначала:

И птиц вернем тебе, и лес...

Гора

Презрительно молчала.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Спокойно сигарету докурил,

Остывший чай налил до края

в кружку

И медленно, с ленцой проговорил:

— Вот и тряхнули мы ее, старушку...

В пласту,— сказал,— отличный

уголек,

Гора крепка,— сказал и сдвинул

брови,

И смолк, о грязный выцветший платок

Ладони вытирая, как от крови...

г. Междуреченск

Александр Катков

* * *

Какая горечь — постоять
у кромки поля и разлуки
и, замерев, не простирать
к простору зябнувшие руки...

Над полем свист! И дрожь берет...
Какие ветры над полями!
И не понять — который год
в календаре отмечен нами.

Людским страданиям нет конца,
и нет пришествия второго.
Но наши русские сердца
вместили поле Куликово,

Полтаву и Бородину
и Поле, ставшее безвестным.
Но в каждом сердце все равно
для поля оставалось место.

Но времена смертоубийств
не канули, однако, в Лету.
И холодящий душу свист
напоминает мне об этом.

Поля осенние мои!
Моя Россия молодая!
Я слезы горя и любви
с октябрьским воздухом глотаю...

* * *

Это родина — синие ставни,
это родина — ивы в наклон,
над которыми серыми стаями
птицы тянутся в небосклон.

Было вдоволь и песен и хлеба,
жизнь взахлеб и беда по плечу.
Но под этим единственным небом
я от родины мало хочу:

я хочу, чтоб земля не скудела,
от которой и песни и хлеб,
чтобы, делая нужное дело,
не оглох я и не ослеп,

я хочу, чтоб река не мелела,
чтоб пьянил и дурманил чабрец,
чтобы мама моя не болела
и чтоб сильным остался отец.

Владислав Ксионжек

ПОЛЮБИ МЕНЯ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Отец пришел поздно. Весь день продолжалась работа на полях опытной фермы и, как ни странно, люди выматывались больше, чем киберы. Впрочем, без людей техника сразу отказывала. Такая уж это была планета, за которой нужен глаз да глаз.

Семья жила обособленно, отдельно от земной колонии. Мать, сын, отец. Отец любил

повторять, что в их работе требуется особое мужество и недаром на опытную станцию поставили именно его, его жену, его семью.

В тот вечер отец не пошел сразу отдыхать. Он сел на стул и посмотрел на жену.

— Жена, — сказал он строго, — наш сын уже вырос. Ему исполнилось тринадцать лет. Пора отпустить его без наставника.

Жена отвернулась, чтобы супруг не заметил, как побледнело ее лицо.

— Ты отец, тебе и решать,— сказала она равнодушным голосом.

И вот Митя первый раз на прогулке без работы. Отец никогда не говорил, зачем нужен этот робот. Планета была сурова, но хищных зверей на ней не водилось. Неуютно, голые скалы, пустое серое небо, воздух такой, что с непривычки даже в дыхательной маске дышать трудно. Но Митя привык — не один сверстник на Земле завидовал ему, сыну пионеров космоса.

Маршрут пролегал через защитные буи, которые полагалось проверять каждые сутки. Вся зона вокруг станции контролировалась двенадцатью буями. Митя протянул руку, чтобы открыть логический блок первого буя, когда почувствовал на себе чей-то взгляд.

На уступе скалы сидела девочка. Не девочка, скорее девушка. Легкий ветерок шевелил ее платье, дышала она легко, хотя на ней не было маски.

Митя очень удивился, потому что знал всех людей в западном полушарии.

— Ты кто? — спросил он девушку.

Та не ответила, лишь пожала плечами. Митя разозлился:

— За четыре минуты я успеваю проверить буй, а на тебя уже потратил две. Отвечай толком!

— Не знаю, — ответила девушка. — Наверно, я просто явление. И звезды не знают, что из себя представляют. Я не мешаю, если пойду с тобой?

— Хорошо, — согласился Митя. — Можешь пойти со мной. Будешь помогать проверять буй.

Шли молча. Митя не хотел говорить не подумав, а девушка, хотя ей, как видно, очень хотелось поболтать, не хотела начинать первой.

«Странно! — думал Митя. На планете каждая рука, каждый лишний палец ценится. А тут!.. — Митя окинул взглядом стройную фигуру, — целых двадцать пальцев»!

Подожли ко второму бую.

— Подержи разводной ключ, — сказал Митя.

Протянутый ключ упал в траву.

— Не могу, — смущенно улыбнулась девушка.

— То есть как не можешь! Ручки испачкать боишься? На, держи!

Митя схватил девушку за руку. Сначала его кисть почувствовала легкое сопротивление, а потом — пустоту.

— Я же сказала, что не могу, — виновато повторила девушка.

Это в корне меняло дело. Митя сам развинтил болты и начал рыться в блок-схеме. Работа привычная, почти автоматическая.

Девушка плелась сзади. Митя перестал обращать на нее внимание. После четвертого буя она, наконец, не выдержала:

— Скажи хоть что-нибудь!

— Что с тобой разговаривать, — буркнул Митя. — Толку никакого.

— Неужели ты не можешь поговорить со мной о небе, о травке, о скалах.

— Отец говорил, что о праздном болтают только дураки и лентяи. Человек должен заниматься делом, иначе он не победит природу. Послушай, — внезапно заинтересовался Митя, — а чем ты питаешься?

— Наверно, ничем, — сказала девушка. — Мне такие мысли не приходили в голову. Я живу, вот и все.

— Хорошо тебе живется. А нам нужно работать по двенадцать часов в сутки.

— Я вам завидую, — сказала девушка. — Вам никогда не бывает скучно...

С пятым бую Митя возился шесть минут. Оп то и дело поглядывал на спутницу.

— Слушай, как тебя зовут?

— А какое имя тебе больше нравится?

— Не знаю.

Митя помолчал и добавил:

— Когда я последний раз был в городе, я смотрел фантом-фильм с участием актрисы Наташи Ботичелли. Потрясающая актриса.

— Представь себе, меня зовут точно так же, — засмеялась девушка.

Ложь была настолько явной, что Митя улыбнулся.

— В таком случае мне тоже нужно представиться: Митя, Дмитрий Гагарин, сын первооселенцев космоса.

— Я знаю,— ответила Наташа тихо.

— Ты читаешь мои мысли?

— Немножко. Но ты не беспокойся, я чужих мыслей стараюсь не читать. А тебя я знаю давно...— Наташа замолчала и совсем обыкновенно покраснела.

Митя спохватился, что уже давно стоит без дела.

— Расскажи сам о своих родителях,— попросила Наташа.

— Родители как родители. Папа родом с Марса. Он рассказывал мне, что у них розовое небо. А люди мужественные, почти такие же, как на нашей планете. Почти все перво-поселенцы родом с Марса. Земляне суетливы, но марсианин, если взялся за дело, не отступит до конца.

Наташа внимательно слушала, и Митя продолжал:

— Мать у меня землянка. Отец познакомился с ней, когда ее прислали на Марс на практику. Другие девчонки были с поровом, их даже обругать было нельзя, а мама работала и молчала. Через месяц у нее были самые лучшие показатели среди практиканток. Так они и поженились.

— А как же любовь?— спросила Наташа.

— Любовь — это ерунда,— сказал Митя сердито.— Главное в жизни — целесообразность.

Опять пауза. Митя почувствовал, что чем-то обидел девушку.

— Расскажи о себе,— попросил он.

— У меня родителей не было. Сколько себя помню, жила в этих скалах. Гуляла, любовалась природой, смотрела на звезды, мечтала. Потом появились люди, и мне очень захотелось быть на вас похожей. Как ты думаешь, похожа я на человека?

— Очень.

— А мы засиделись,— засмеялась Наташа.— Тебе пужно проверять буи.

— Да ну их,— сказал Митя.— Их кибер может проверить. Это отец приучает, чтобы я ни минуты не сидел без дела.

— Тогда давай погуляем. Я покажу свои любимые места.

Места были знакомые, Митя знал их с детства, но еще ни разу ему не приходилось

взбираться такими козыми тропами. Девушка шла впереди. Митя завидовал ее невесомой походке. Мужская гордость гнала его вверх, и на каком-то зигзаге он поровнялся с Наташей.

— Нравится?— спросила Наташа.

Внизу было чудо. Что-то совершенно необыкновенное: холмы и скалы образовали удивительный узор, который в лучах неяркого солнышка светился очень нежными, мягкими красками. Митя, который учил стихи только в начальной школе и из всей поэзии помнил лишь бессмысленную строчку: «...лошадка, снег почуяв, плетется рысью...», не находил слов для того, чтобы выразить свой восторг. Наконец он облизал пересохшие губы и сказал:

— Блеск!

— Я рада, что тебе понравилось. Я часто хожу сюда. Однако пойдем дальше, к голубому озеру.

Теперь девушка шла медленнее и там, где позволяла тропинка, Митя мог идти рядом.

— Твои родители не будут волноваться?— спросила Наташа.

— Ты их плохо знаешь. Раз они отпустили меня без робота, значит, все предусмотрели заранее... По крайней мере — папа.

За поворотом показалось озеро.

— Какая чудесная вода!— воскликнула девушка.— Сегодня у нее бирюзовый оттенок. Я хочу искупаться!

— С ума сошла!— сказал Митя.— Это жидкий воздух. Под скалой проходит скважина.

— Ерунда. Ты как хочешь, а я пошла.

Она подбежала к озеру и скинула платье.

Наташа плескалась довольно долго, вызывая тихую зависть своего приятеля. Наконец ей надоело купаться, и она вылезла на берег. Она стояла на берегу, и поднимающийся воздух шевелил ее золотистые волосы. Впрочем, они сейчас были золотистыми. Раньше они были каштановыми, серебристыми, серебристо-пепельными и, казалось, могли принимать любой оттенок.

Мите было ничуть не стыдно смотреть на девушку. Не было в зрелище ее обнаженности ничего постыдного, и Митя подумал,

что есть в Наташе что-то необъяснимое, что сближает человека с природой и чего его отец наверняка не понимал.

На расстоянии тридцати метров от озера не было холодно, и Митя сел на землю.

— Слушай, а до тебя можно дотронуться? — спросил он, когда девушка подошла к нему.

— Попробуй, — сказала она.

Митя взял ее за руку. На ощупь она в этот раз была мягкой и теплой.

— Только не надо давить слишком сильно, иначе у меня не хватит сил.

— Я знаю, кто ты, — сказал Митя. — Ты сгусток поля. Тебе захотелось превратиться в девушку, и ты стала ею. Если бы захотела, ты превратилась бы, скажем, в камень...

— Надо спешить, — сказала девушка. — Надвигается хурракан.

Этим древним индийским словом люди называли внезапные изменения в атмосфере планеты, которые приводили иногда к катастрофическим последствиям. До первых страшных порывов ветра было не больше трех минут — ровно столько, чтобы успеть укрыться в защитном поле ближайшего бую. Но сейчас до бую было далеко, кроме того, их закрывали скалы, которые экранировали защитное поле.

— Я покажу короткую дорогу, — сказала Наташа.

Спуск был еще тяжелее, чем подъем. Приходилось прыгать с камня на камень. Малейшая ошибка грозила падением с головокружительной высоты.

То ли девушка прыгнула слишком высоко, то ли Митя не усмотрел коварный камень, но вдруг почва ушла из-под ног, и Митя почувствовал, что летит вниз. Он не растерялся. Он постарался отыскать глазами упругие ветки «горного каната». Попадая он на такую ветку, у него был бы шанс остаться живым.

За считанные секунды Митя успел заметить, что больших канатов внизу нет. Лишь у самого дна торчал маленький, словно мышиный хвостик, канатик. Митя приготовился

падать на него. Вдруг что-то словно ударило его по ногам, и он почувствовал, что летит вверх. Неведомая сила подняла его из пропасти и мягко опустила на уступе скалы.

«Планшет! — подумал Митя. — Молодец отец, успел запустить его перед хурраканом».

Полесжав секунд пятнадцать на уступе скалы, Митя поднялся. А где же Наташа? Неужели убежала?

— Наташа! — позвал он.

Наташа была рядом. Она лежала на камнях возле тропинки, маленькая и тихая. Краска сошла с ее лица, и даже волосы стали бесцветными.

— У меня не осталось сил, — прошептала она. — Теперь я не могу проводить тебя домой.

— Ерунда. Я тебя понесу.

— Осталась минута. Отнеси меня в пещеру. Это близко.

— Хорошо, — сказал Митя.

Он подхватил девушку и понес по тропинке.

Первый порыв ветра обрушился на них при входе в пещеру. Митю сбilo с ног, протащило между осклизшими рядами сталактитов и покатило вглубь. Девушка выскользнула, словно растворилась.

Тьма была крошечная. Рев хурракана почти не доносился. Митя поискал свой «вечный» фонарик, но тот, видимо, выпал при входе. Тихо-тихо капала вода. Каждая капелька звенела, потом шелестела, отдаваясь эхом со сводов пещеры.

— Наташа! — позвал Митя тихо.

— Что тебе нужно?

— Посиди со мной.

— Зачем?

— Не знаю.

— Ты мне надоел, — сказала девушка сухо. — Я не способна на человеческие чувства.

И потом, чтобы рассеять сомнения, добавила:

— Мне было скучно и захотелось поиграть. А теперь ты мне надоел. Понятно?

— Не верю, — сказал Митя. — Что случилось с тобой на скале?

— Не обращай внимания, со мной бывает. Я просто устала.

Хурракан кончился.

— Мне нужно идти,— сказал Митя.— Но я приду сюда завтра. Ты будешь меня ждать?

— Нет.

— Врешь!— со злостью сказал Митя.

На ощупь он пробрался к выходу. Хурракан постарался на славу, но сталактиты уже отращивали новые зубья. Озеро почти пересохло, лишь со дна бил фонтан жидкого азота. Тропинка частью провалилась в пропасть, но торопиться было некуда. Митя осторожно пробирался среди камней.

Отец встретил его спокойно, но это спокойствие было хуже хурракана.

— По твоей вине унесло буй номер одиннадцать,— сказал отец.— А теперь иди в свою комнату. Впредь я запрещаю тебе прикасаться к технике.

Митя ушел к себе. Странно, но его мало волновала судьба одиннадцатого буй. Он чувствовал себя очень усталым, разделил, но всю ночь не мог уснуть.

В эту ночь в доме никто не спал. Отец возбужденно ходил по кабинету. Мать в ночной сорочке появилась на пороге.

— Не спишь?— спросила она.

— Не сплю, как видишь,— ответил отец.— Я думаю о том, как мы плохо воспитали сына.

Мать грустно улыбнулась.

— Это не зависит от воспитания. Это есть во всех нас, даже в тебе.

— Нет,— сказал отец.— Я не такой. Я никогда не влюблялся в привидение.

— Скажи,— спросила мать,— почему ты

дал ему провалиться в пропасть? Я видела, как ты запустил планетет.

— А ты не понимаешь? Я ждал последнего момента, когда она его подхватит.

— Зачем?— изумилась мать.— Ведь ты знаешь, что они...

— Вот именно,— усмехнулся отец.— Именно на это я и рассчитывал. Должен же я был спасти нашего мальчика. Эта особа превратила бы его в тьюфяка и слюнтя. Ты же видела, он чуть не погиб.

— Да,— сказала мать,— ты действительно не такой.

Луч «вечного» фонарика метался по сводам пещеры. Митя нашел его тут же, у входа. За день фонарик хорошо зарядился, и теперь солнечные зайчики весело прыгали в разные стороны.

— Паташа!— позвал Митя тихо.

Тишина, лишь капли плескались в лужицу на сталагмите.

— Паташа!— позвал Митя громче. Почему-то он был уверен, что она где-то рядом. Луч фонарика обшарил все закоулки пещеры. Пусто, нету даже записки.

Митины губы сложились в презрительную улыбку.

— Ничтожество!— сказал он.

Митя шел к отцу. Он решил, что сам разберет до винтика и починит одиннадцатый буй.

В пещере он подобрал интересный камушек. Камушек был наверно радиоактивным и светился изнутри то золотистым, то рыжеватым, то опаловым светом. Правда, подходя к дому, он засунул руку в карман и ничего там не обнаружил. «Странно!— подумал он. Как же я мог его потерять?» Впрочем, он скоро забыл о пропаже.

УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ

...стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, простое и очень будничное — хозяйское отношение к общественному добру, умение полностью, целесообразно использовать все, что у нас есть. На это должны быть нацелены инициатива трудовых коллективов, партийно-массовая работа.

Л. И. Брежнев

Из Отчетного доклада Центрального Комитета КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

В 3 часа 35 минут московского времени из Новокузнецка в Магнитогорск вышел угольный маршрут номер 3525 весом 6016 тонн, состоящий из 71 полувагона. Номер головного — 6 756 590 и хвостового 6 402 327.

Через 2299 километров при взвешивании на станции назначения вес поезда оказался меньше на 125 тонн. Спрашивается, какой ущерб понесло государство, если каждая тонна потерянного концентрата стоит в среднем 20 рублей?

Уверен, что любой школьник справится с этой задачей: 125 тонн умножаем на 20 рублей, получаем в ответе 2500 рублей.

По законам детектива всякая недостача должна быть тщательно расследована, похититель найден и строго наказан.

Попробуем и мы разобраться в этом печальном случае: осмотрим место происшествия, сопоставим факты, построим версию, подключим организации, которые так или иначе имеют отношение к пропаже, установим, как велась погрузка, в каком состоянии была тара, а в трудных случаях пригласим лучших ученых страны.

Итак, начнем.

ЧЕРНЫЙ ПРИЗРАК

Наверное, случалось вам при длительных путешествиях в поезде лечь с вечера на чистую постель, а утром с удивлением обнаружить мельчайшую пыль на подушке.

Это угольная пыль. Она набивается в ваш вагон даже сквозь плотно закрытые окна. Раньше в этих случаях грешили на паровозы. Сегодня паровозов нет, а пыль все-таки осталась...

Посмотрите в окно, когда с пронзительным воем мимо вас проносится встречный угольный состав. Наберитесь мужества не отворачиваться и не закрывать глаза, и вы увидите, как с вагонов слетают, подобно поэмке, тонкие струйки, которые при тихой погоде превращаются в черный туман. Он еще долго висит над тем местом, где только что был поезд.

Угольный состав умчался по своему маршруту, и пыли в вашем вагоне прибавилось. Приглядитесь на остановке: повсюду эта мелкая угольная пыль. Она — постоянный спутник железных дорог. А там, где поезд развивает хорошую скорость, этой пыли становится особенно много: на обочинах, между рельсами, под откосами — черный след тянется по всем дорогам, как наглядное свидетельство нашего расточительства и бесхозяйственности.

В тридцать тысяч адресов отправляется кузбасский уголь. Это практически по всей нашей огромной стране — во Владивосток и Среднюю Азию, за Урал и Волгу...

Некоторое время назад я участвовал в съемках документального фильма Кемеровской студии телевидения, который назывался «Черный шлейф». Фильм этот о проблеме сохранности угля при железнодорожных перевозках. Мы тогда проехали от Магнитогорска до Иркутска и везде встречали знакомый уже черный след угольной пыли, черный след нашего кузнеческого угля.

К сожалению, там похоронена не одна тысяча тонн. С таким трудом добытый уголь с поразительной легкостью рассеивается по железным дорогам страны.

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Есть у Бальзака очень поучительный роман с таким названием. В нем повествуется о человеке, которому дали шагреновую кожу и сказали: ты можешь делать все, что захочешь, но помни, что каждое твое желание будет сокращать ее. Когда она кончится, ты умрешь.

Чем меньше становилась шагреновая кожа, тем больше воздерживался человек от желаний, тем чаще задумывался над своими поступками. Однако это не помогло: шагреновая кожа кончилась...

Здесь есть необходимость привести общую цифру разведанных запасов кузнеческого угля. Они составляют 725 миллиардов тонн. Конечно, это успокаивает, вселяет уверенность. Однако будем разумны. Вспомним, что еще совсем недавно даже крупным специалистам виделись необозримые подземные моря нефти и газа. Прошли годы (два-три десятилетия), и сегодня ученые многих стран считают, что если сохранить современную структуру добычи, то нефти хватит не более чем на 30—40 лет.

Вот она, «шагреновая кожа». Есть над чем подумать.

Положение с запасами угля, как мы убедились, значительно лучше. Даже по тем фантастическим прикидкам — 500—550 миллионов

тонн, которые будут добываться ежегодно, — запасов в Кузбассе хватит почти на полторы тысячи лет. Но вспомним снова, что через 30—40 лет уголь будет играть ведущую роль в мировом топливно-энергетическом балансе. А методы добычи его будут постоянно совершенствоваться.

Времена бездумного расходования наших сырьевых богатств проходят.

...Недалеко от станции Коченево Западно-Сибирской железной дороги, как раз перед крутым поворотом, есть так называемая «Коченевская яма», то есть глубокий многометровый откос. С каждого проходящего угольного маршрута, а станция стоит на транс-сибирской магистрали, в эту яму падает уголь. Железнодорожники объясняют это законами физики: скорость, инерция, ветер... Как бы там ни было, угля здесь так много, что жители ближайшей деревни Камышинка топлива не имеют, что значит покупать топливо. Круглый год пользуются тем, что с вагонов унало. Приезжают сюда на лошадях, на машинах и обеспечивают себя углем. Рассказывают даже, что некоторые предпринимчивые люди, не особенно афишируя это, слегка подторговывают свалившимся с неба топливом.

Когда я рассказал об этом на Абашевской ЦОФ, Владимир Александрович Юрмазов, директор фабрики, посоветовал: «А вы поезжайте в Прокопьевск, встаньте на мосту, хорошо видно, сколько сдувает угля...»

Я так и сделал. Рядом с гостиницей «Заря», что в центре города, под коммунальным мостом то и дело с грохотом проходят угольные составы. Сверху хорошо видно, как по вагонам метет черная поземка: угольная пыль бесследно исчезает в пути.

Впрочем, совсем не бесследно. В одном перегоне от станции Промышленная этой угольной пыли столько, что глазом не окинешь. Вдоль пути на километры тянутся угольные завалы. «Чистый уголь», — сказали нам.

Мы засомневались: не может быть. Тогда путевой мастер взял обыкновенный лом, отошел от нас метров на пять-шесть, оставляя в еще не успевшем слежаться угле глубокие

следы, и без особого усилия воткнул лом. Лом ушел в глубину на три четверти своей длины...

Существуют так называемые естественные потери угля при железнодорожных перевозках, которые составляют ни много ни мало — 0,5—0,8 процента. Такова узаконенная норма потерь.

Подсчитаем, во что же обходятся эти естественные потери. Вес вагона в среднем 65 тонн. Небольшой расчет. Получаем 520 килограммов. И это считается естественным. Что же тут естественного: терять по 520 килограммов дефицитного угля с каждого вагона за здорово живешь?

А ведь есть и другие причины. И их немало: выдувание, просыпание, плохо подготовленные вагоны, недобросовестное отношение к делу и т. д. и т. п. В результате получается совсем грустная картина. В пункте назначения потребитель недосчитывается изрядного количества угля. И эти недостатки исчисляются десятками тонн, которые в официальных документах значатся как недогрузки. За них-то горняки и платят приличные штрафы.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Сама идея нанесения защитных пленок принадлежит ученым Московского института горючих ископаемых и Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. Им же принадлежат и рецептуры этих пленок.

Но как все будет на деле? На этот вопрос могли ответить только практики.

И вот 17 октября 1969 года на Абашевской центральной обогатительной фабрике осуществлена погрузка угля в экспериментальную партию из сорока полувагонов, которые представило для этой цели Министерство путей сообщения СССР.

Причем часть угля была просто прикатана, а в некоторых вагонах уголь вообще не обрабатывался. Из общего количества были отобраны восемнадцать вагонов в особо хорошем техническом и коммерческом состоянии. Уголь в них был покрыт защитной водомазутной эмульсией, состав которой разработала лабо-

ратория дисперсных топливных систем Московского ИГИ.

Пункт назначения — Магнитогорский металлургический комбинат. Расстояние — 2299 километров. Представители института, обогатительной фабрики, железной дороги расположились в специальном вагоне и вели постоянное наблюдение.

Первая контрольная проверка проведена в Омске, через 1096 километров. Ученые зафиксировали температуру на поверхности вагона — минус 22—29 градусов Цельсия, скорость ветра семь метров в секунду. Скорость движения поезда 80—100 километров в час. Отмечено, что пленка сохранилась на всех открытых вагонах полностью.

Вторая контрольная проверка проведена в Магнитогорске. Повреждений покрытия по-прежнему нет. На других вагонах отмечены потери.

Это была первая победа. На Абашевской ЦОФ решено было строить опытно-промышленную установку для нанесения защитных покрытий.

Как вспоминает директор фабрики Владимир Александрович Юрмазов, построили ее быстро, за полгода. Строили за счет фонда развития хозяйственным способом. Сметная стоимость — 160 тысяч рублей.

По расчетам ученых Московского ИГИ, стоимость обработки одного вагона не превышала 1 рубля 40 копеек, расход эмульсии на один вагон 84—126 килограммов, время обработки одного вагона — 15 секунд. При непрерывной работе в течение суток можно обработать 2600 вагонов. Потребность в мазуте — сорок килограммов на каждый вагон.

Жизнь внесла некоторые поправки в эти расчеты. Но таковы были исходные данные. Располагая ими, абашевцы приступили к строительству опытной промышленной установки.

А в это время еще шли горячие дебаты, и мало кто верил в перспективность абашевских начинаний. Октябрь 1973 года. Читаем в «Правде»: «...первая подобная установка, наконец, пущена на Абашево-Байдаевской ЦОФ. Правда, говорить о ее эффективности пока преждевременно».

1974 год. В Москве выходит брошюра В. А. Юрмазова «Опыт эксплуатации установки для нанесения защитной пленки на поверхность угля в железнодорожных вагонах». В ней излагается точка зрения практика: за вычетом суммарных расходов на эксплуатацию установки и стоимости израсходованного мазута экономия в результате сохранения от выдувания 6747 тонн угольного концентрата определяется в размере 117 111 рублей.

Таким образом, затраты на сооружение такой установки окупились ровно за полгода.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА

В те первые годы, когда на Абашевской ЦОФ еще проводили эксперименты, когда доказательства были немногочисленными и робкими, когда эмоции не сдерживались и люди не боялись, как сегодня, высоких слов, эту пленку называли и чудесной, и спасительной.

А ведь и правда, она была чудесной. На сухую угольную пыль она ложилась ровным блестящим слоем, затвердевала и словно панцирем надежно укрывала уголь от выдувания. Вези хоть на край света, не потеряется ни грамма! С нею связывались радужные перспективы, она считалась панацеей.

Это было давно. Сегодня и специалисты, да и наш брат, журналисты, таких слов не употребляют в своем лексиконе. Сегодня все стало проще: работа, технологический процесс, будни...

Но пленка осталась. И по-прежнему она чудесна.

...Здание погрузочного пункта на Абашевской ЦОФ неказисто на вид. Такое можно встретить на всех обогатительных фабриках: черный цвет здесь преобладает над любым другим. И когда-то красный кирпич помрачнел, словно одевшись в рабочую спецодежду.

Как на всех обогатительных фабриках, сюда подходят полувагоны, оператор с пульта управления щедро загружает их угольным концентратом, насыпая высокие «шапки», уплотняет тяжелым катком. «Шапка» садится, становится меньше, плотней, аккуратней...

Все так же, но все-таки иначе.

Где-то там наверху оператор нажимает на

рычажок тумблера, и на прикатанный уголь обрушивается черный жирный дождь. Он льется до тех пор, пока струйное устройство «не споткнется» о заднюю стенку вагона. Срабатывает автоматика, дождь прекращается, предохраняя тем самым автосцепки вагона от попадания на них водомазутной эмульсии.

По узкой железной лестнице поднимаемся на третий этаж. Среди поддерживающих крышу металлических конструкций стоят две огромные емкости, покрытые блестящей жестью и соединенные между собой патрубками. В одной из них горячая вода смешивается с мазутом, образуя водомазутную эмульсию, которая и подается для разбрызгивания на струйное устройство.

«СИБИРЬ», «СИБИРЬ»...

Красива обогатительная фабрика «Сибирь» — ничего не скажешь. Еще издалека, откуда видны только ее контуры да дымящиеся трубы, она напоминает огромный многотрубный корабль с легкими надлабными постройками. Ближе это ощущение пропадает. Но все равно «Сибирь» действительно хороша. Не зря ее называют флагманом отечественного обогащения. Очень это правильно: и в прямом, и в переносном смысле.

В самом деле обогатительную фабрику «Сибирь» сравнить не с чем. Ей лет равных. Она самая лучшая, мощная, удобная. Самая современная.

Обогатитель — профессия в основном женская. Потому, наверное, на фабрике все процессы механизированы, автоматизированы. Многое здесь применяется впервые: и в технологии, и в погрузке. Ежегодно с подъездных путей «Сибири» отправляется на металлургические заводы страны более пяти миллионов тонн угольного концентрата с государственным Знаком качества. Это в сутки 16—17 тысяч тонн.

Погрузочный пункт здесь тоже на удивление: бетонные емкости для хранения готовой продукции и угля, автоматические уплотнительные катки...

Но что это? На эстакаде рядом с вагонами — штабеля досок, кучи бумажных мешков. Знакомая картина: два грузчика доволь-

но ловко лезут в вагоны, забивают досками щели в деревянной обшивке, затыкают углы и неровности в металлических кузовах бумажными мешками.

— Каждую смену держим двух человек,— говорит начальник погрузки Федоров. А всего здесь занято 10—12 человек.

— Во что же обходятся фабрике эти люди?

— Да пустяки,— отмахивается начальник погрузки,— одна зарплата...

— А материалы?

— Это мелочь: горбыль да списанные мешки...

— А велики ли потери?

— Ну, по тонне-полторы с вагона будет... Да вы не беспокойтесь,— заторопился он,— мы свой концентрат бережем. Посмотрите...

Из-под катков выходили вагоны с плотными, ровными «шапками». И в самом деле, такие «шапки» не всякий ветер возьмет.

— А все-таки рекламации бывают?

— А как же? КМК вон регулярно претензий шлет. Знают, что у нас весы не работают.

— А остальные?

— Остальные — нет. На Урал отправляем — претензий нет. А вот КМК жалуется...

В кабинете главного инженера центральной обогатительной фабрики «Сибирь» Михаила Павловича Герасименко висят два больших планшета, выполненных институтом Сибгипрошахт. На одном изображена действующая фабрика, на другом — будущая ЦОФ «Сибирь-2».

Михаил Павлович — выходец с Абашевской ЦОФ, поэтому хорошо знает о защитных пленках, которые там применяются. К сожалению, при проектировании первой очереди фабрики такая установка не была предусмотрена. Зато на второй очереди она обязательно будет. Михаил Павлович подошел к планшету и охотно показал место, где будет со временем эта установка. Но беда в том, что великоленная ЦОФ «Сибирь-2» в нынешней пятилетке не будет пущена.

РЕШЕТО НА КОЛЕСАХ

В тот же день вопрос о вагонах возник снова. На этот раз на пункте погрузки шахты «Зырянская».

...Когда я приехал на «Зырянскую», под погрузкой стоял порожний состав. Начиная с хвоста, я обошел его весь, заглядывая во все щели. Щелей и дыр было много.

Погрузка шла полным ходом. Снова, как и на «Сибири», около вагонов лежали кучи «горбылей» и груды бумажных мешков. А пожилой грузчик, неумело перелезая через борта, пытался заткнуть, что можно.

И опять знакомые жалобы: вагоны подаются плохие. Особенно под энергетические угли, а качественно отремонтировать их таким образом просто невозможно, хотя ежемесячно на эти нужды расходуется до 20—30 кубометров пиломатериалов, не считая бумажных мешков.

Чтобы было понятно, во что это обходится народному хозяйству Кузбасса, приведу несколько цифр.

В 1976 году на такой «ремонт» затрачено 3154 кубометра леса на общую сумму 139 тысяч рублей. В 1977 году — соответственно 5775 кубометров на общую сумму 251 тысячу рублей. За шесть месяцев 1980 года — 1218 кубометров леса и более 40 тысяч бумажных мешков.

Нет, как видим, это далеко не мелочи. А представьте себе, сколько дополнительных хлопот такие «затычки» доставляют потребителю. Высыпаясь в опрокиде вместе с углем, они забивают воронки на углеприемочных станциях. Это сдерживает процесс, удорожает его. Ведь чтобы убрать эти доски и мешки, опять нужны люди. И то, что когда-то было годными пиломатериалами и мешками, превращается в груды мусора, которые мешают работать.

Конечно, за горняками оставлено право определять годность вагонов. Часто ли пользуются они этим правом? Почти никогда. Только в случаях чрезвычайных. На обработку состава отпускается три с половиной часа. А чтобы отцепить не внушающий доверия вагон, требуются дополнительные маневровые операции, которые, естественно, в норму обработки состава не входят.

Это одно. Второе. Как угольщики не любят слишком привередливых потребителей, так и железнодорожники не жалуют излишне требовательных грузоотправителей. Будешь на-

становать, получишь вагоны в последнюю очередь. Значит, бери, что дают, если не хочешь сорвать план реализации.

Все, круг замкнулся. Горняки грузят уголь в плохие вагоны, железнодорожники везут его через всю страну, теряя в пути тысячи и тысячи тонн, а потребитель старается не замечать этой недостачи, зная, что горняки все равно восполнят ее. В проигрыше остаются горняки. И государство.

Все потери угля при транспортировке по железным дорогам ученые делят следующим образом: 60—65 процентов угля теряется от выдувания. Эти потери можно предотвратить, прикрывая вагоны с топливом защитными плесками. И 35—40 процентов угля теряется от просыпания, то есть из-за неплотностей в вагонах или из-за неисправности: дыр, щелей, различных зазоров и т. д. И здесь бумажными мешками горю не поможешь. Здесь нужны другие меры.

ВАГОННЫЕ СТРАДАНИЯ

Идти к железнодорожникам давно было пора. Но я все откладывал, накапливая факты. Фактов было много. Но они имели пока несформулированный подтекст. Я понимал, что все не так просто, что неисправные вагоны не только выпа вагонников, но и результат небрежного отношения тех, кто пользуется ими.

Однако те цифры, которые сообщили сперва в Новокузнецком отделении, потом в Управлении Кемеровской железной дороги, просто поразили: настолько безответственно мы относимся к чужому добру, забывая, что это добро и наше, народное.

Старший инспектор по сохранности вагонов Яков Феоктистович Шадрин, человек, видимо, деловой и терпеливый, листая свои толстые ведомости, так и сыпал цифрами, которые тут же повторял, поскольку я не успевал записывать их.

«В ночь с пятого на шестое июня 1981 года машинист вагонотолкателя Абагурской аглофабрики Лобанов В. В., будучи в нетрезвом состоянии, начал толкать вагон номер 6 630 929 в поднятом состоянии. Сломал хребтовую балку. Убыток — 5476 рублей».

«21 мая 1981 года при выгрузке угольных электродов с помощью мостового крана повреждены стойки, стенки вагонов 2 520 481, 2 669 361. Начальник электросталеплавильного цеха № 2 Демичев Е. Ф.».

«19 апреля 1981 года на подъездных путях разреза «Байдаевский» сошли с рельсов четыре вагона. Номера — 6 723 566, 6 721 874, 6 716 627, 6 726 416. Состояние путей аварийное».

И так далее, и так далее, пока я его не остановил...

А в целом картина нарисовалась такая. За пять месяцев 1981 года повреждено промышленными предприятиями 507 вагонов. Из них: металлургами — 421, в том числе работниками Кузнецкого металлургического комбината — 242, Западно-Сибирского металлургического завода — 165.

Из тех 507 вагонов в 418 повреждены торцовые двери, на что у горняков бывает больше всего жалоб.

Взыскано штрафов за поломку 507 вагонов — 47 853 рубля. В том числе Кузнецкий металлургический комбинат заплатил 20 840 рублей, Западно-Сибирский металлургический завод — 12 816 рублей.

Для сравнения Яков Феоктистович привел цифры за пять месяцев 1980 года. Всего было повреждено 306 вагонов, в том числе на Кузнецком металлургическом комбинате — 188, на Западно-Сибирском металлургическом заводе — 58.

Итак, налицо рост. И угольщики, и машинистры, особенно металлурги настолько небрежно пользуются вагонами, что просто диву даешься.

Было время, когда в цехе подготовки составов Западно-Сибирского металлургического завода двенадцатитонные слитки грузили в обыкновенные полувагоны. По пять штук в каждый.

Жалко было смотреть, как корежили бедные вагоны. Во-первых, нежно положить на место тяжеленную небольшую по площади заготовку не каждый крановщик сумеет. Были случаи, когда не выдерживали хребтовые балки, не говоря уже о бортах, люках.

Во-вторых, даже аккуратно положенную болванку в двенадцать тонн весом надо надежно закрепить, на что, кстати, тратились пиломатериалы и гвозди. А попробуйте удержать ее на огромных скоростях и крутых поворотах без ущерба для вагона...

Сейчас рационализаторы цеха используют обычную платформу с установленным на ней сварным металлическим кузовом, разделенным на три отсека и снабженным запорными устройствами. Проблема решена: у крановщика появился обзор во время операций, платформы не ломаются, а полувагоны высвободились для угольщиков.

Наверное, так и надо работать, если подойти к делу по-хозяйски. Однако и сегодня в полувагоны грузят металлолом, бросая его с большой высоты, трубы и слитки, огромные куски породы и угля, как это было, например, на Сибиргинском угольном разрезе, где только за пять месяцев 1981 года выведено из строя 44 вагона.

А всего за пять месяцев только Новокузнецкое отделение дороги отцепило 27 тысяч явно «больных» вагонов. Это те, в которых повреждены обшивка, днища, кузова. Это те, в которых сыпучие грузы перевозить нельзя. Между тем только под уголь каждые сутки отделение должно направлять 2400—2700 полувагонов. А ремонтировать не успевают. Да и ремонтная база, признаться, еще слаба.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

В одной из частных бесед Виктор Михайлович Ерпылев, директор шахты «Нагорная», как-то сказал: «Я вот шахтер, больше 20 лет занимаюсь этим. И всегда мне кажется, что мало угля берем, до обидного мало...»

Вот ведь как: много берем, а все равно мало. Безусловно, со временем будут достигнуты и самые максимальные рубежи добычи: горнодобывающая техника развивается неудержимо. А средства защиты? Останутся ли они на прежнем уровне? Есть ли еще что-то, кроме защитных покрытий?

Конечно, есть. Например, предлагается несколько путей предохранения угля при перевозках. Углевозы, то есть железнодорожные

вагоны, предназначенные только для перевозки угля, такие как, скажем, вагоны для перевозки хлеба, муки, цемента. Они имеют крышу, которая, кстати, не мешает при погрузке. А минимальные зазоры в соединениях предотвращают любые течи.

Первые такие вагоны — давшие имя мечтам горняков и железнодорожников — выйдут на наши магистрали не раньше, чем через 10—15 лет.

Другой путь — прокладка мощных трубопроводов для транспортировки измельченного угля в водной среде. Это знакомый многим гидротранспорт. Он и сейчас хорошо помогает горнякам гидрошахт, перенося уголь на расстояние в несколько километров. Например, протяженность маршрута шахта «Юбилейная» — Западно-Сибирский металлургический завод свыше десяти километров.

Но на таких расстояниях и при железнодорожных перевозках потерь не бывает. Поэтому вопрос стоит об увеличении протяженности гидротранспортировки топлива.

И вот совместными усилиями многих институтов страны во главе с институтом ВНИИГидроуголь завершён проект углепровода Белово — Новосибирск протяженностью 257 километров. Уголь шахты «Инская» прямым ходом пойдет по трубам на Новосибирскую ТЭЦ-5. Этот углепровод уже начнет действовать в нынешней пятилетке.

Специалисты считают вполне возможным транспортировать уголь по трубам на Урал и даже в европейские районы страны. Что ж, гидротранспорт наконец-то снимет с повестки дня проблему потерь угля при перевозках. Но ведь это будет не скоро. Видимо, только в новом тысячелетии.

Пока же остается два испытанных пути — прикатывание поверхности угля в полувагонах и нанесение защитных пленок. Второй путь — самый надежный. Конечно, при наличии хорошо подготовленных для перевозки угля вагонов.

Тогда идеальная картина будет выглядеть примерно так.

Горняки добыли уголь, сдали его погрузочно-транспортному управлению. Его работники погрузили этот уголь в хорошие вагоны,

прикатали, покрыли специальной эмульсией и на углесборочной станции с рук в руки сдали железнодорожникам: пожалуйста, дорогие товарищи, взвесьте, проверьте качество загрузки. И — в путь!

Очередной «шеститысячник» уходит в путь. Около него обычные деловые хлопоты. Машинист с помощником буднично нарядны и торжественны: чистенькая форма — белые рубашки, черные галстуки, матово сверкают железнодорожные галуны. В путь! Стукнули буферами вагоны. Впереди 2299 километров...

В Магнитогорске состав прошел через автоматические весы: потерь нет!

Так должно быть. Но так, к сожалению, не бывает. Хотя опыт накоплен большой.

В брошюре Л. А. Горшкова «Партийная работа и экономия энергетических ресурсов» есть такие строки: «Накопленный уже опыт борьбы за экономию топливно-энергетических ресурсов должен стать не итогом, а всего лишь платформой для дальнейшего развития этой работы вириь и вглубь».

Этими ко многому обязывающими словами я и хотел бы завершить наш разговор о проблеме сохранности угля — нашего главного богатства. Действительно, опыт накоплен большой. Но основная работа — впереди.

НИЧЕГО ТАИНСТВЕННОГО

Итак, расследование завершено. Установлены причины недостачи груза в пути, опрошены участники этого печального факта, проведены

очные ставки, сопоставлены свидетельские показания, проанализированы заключения высококвалифицированных экспертов.

И что же? А ничего. На этом наш детектив кончается и начинается реальная действительность. Недостача есть, а виновных нет. И наказывать некого.

Странная складывается ситуация: все величины известны, а уравнение не решается. В математике такого не бывает. В жизни же встречается часто.

И случается это потому, что мы слишком стали дорожить своим здоровьем. Мы хорошо усвоили, что нервные клетки не восстанавливаются. Не дай бог лишний раз поволноваться. И закрываем глаза на все неприятное, словно его не существует. Мы очень любим положительные эмоции, а отрицательные — не для нас. Ударили пьяные хулиганы человека на наших глазах, мы стыдливо отворачиваемся: «Что я могу сделать?» Убили браконьеры лося: «А я при чем?» Сломали подвыпившие подростки дерево: «Ах, как жалко!!!»

Летят на ветер народные рубли — меня это тоже не касается: не мои рубли...

Вот потому-то и нет виновных, потому-то и наказывать некого. И очень жаль, что задумываемся мы об этом не слишком часто.

В наше время родилось немало хороших лозунгов. Среди них и этот: «Бережливость — закон для всех!» Вдумайтесь только: закон. И для всех. Ну что еще нужно?

А уравнение все равно не решается...

ВАРЮХИНСКАЯ ПЕРЕПРАВА

ПРОЛОГ, ИЛИ СЛАВА
«ВЕЛИКОМУ КАНДАЛЬНОМУ ПУТИ»

Великий кандалный путь врезался в плоть Сибири. Омытый слезами, он все же был подобен животворной артерии. Таковы парадоксы истории. Именно он привносил сюда лучшие умы России, которые, вставая в неподатливую сибирскую почву, пускали в ней могучие корни. Здесь проводились исследования и написаны были труды куда более обстоятельные, чем если бы их авторы продолжали носить щегольские столичные мундиры или чинно исполняли департаментские обязанности в европейской более благопристойной части России. Они, будущие авторы статей, писем и дневников, появлялись здесь не добровольно — Александр Радищев, славная когорта декабристов, опальный сочинитель Достоевский и многие другие... И нужна была алмазная твердость, чтобы недобровольностью этой пренебречь и жить отмеренный здесь срок, сохраняя светлый разум и стремление к творчеству так, словно ничто не душило и не мяло ли достоинства, ни саму судьбу недобровольных этих сибирских жителей...

Других манила неведомость и отторгнутость Сибири, и они, подобно Чехову, приезжали сюда по велению совести. Или, как пламенный публицист Илья Эренбург, делались летописцами ее великих строк.

Нет в Сибири такого края, которого прямо или косвенно не коснулся бы животворный источник, притекавший сюда от сердца России.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СИБИРЬ
(А. Н. Радищев, 1749—1802)

Чтобы отважиться на печатание такой книги, как «Путешествие из Петербурга в Москву», нужно было пламенное сердце Александра Радищева. Он знал: самовластные мятежа не простит. Но — «не бойся осмеяния, ни мучения, ни болезней, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, ярость мучителей твоих раздробится о

твердь твою, а если предадут тебя смерти, осмеяны будут...» — гласили его жизненные правила.

*...Внимай, — когда Нерон смертельной
Отравой брата опоил,
Народ их, к лести приученный,
В том благо Рима находил,
Когда он удавил супругу,
И тут, как к истинному другу,
Бежали все тогда толпой,
И все наперерыв кричали,
И правосудье восхваляли,
Иметь мечтали свой покой,
Когда он мать свою родную
Тиранским образом убил,
Народ тут руку кровавую
Слезами радости облил.
Се зри, монарх! —
Пример правдивый,
Какой вельмож глас справедливый
Царей издревле окружал...*

Эти строки будут написаны много позже, в «Послании к сочинителю, воспевающему новый век». Это одно из последних сочинений Радищева недавно поступило в Ленинскую библиотеку в списке. Оно датировано 1796—1801 годами, то есть создано действительно в преддверии нового, XIX века, но — и в преддверии воцарения нового монарха. Это «Послание», которое пристально изучается литературоведами, родилось именно в годы последних размышлений, когда подведены итоги, обобщено увиденное и пережитое. Какая горькая ирония в строках, обращенных в «новый век», в которых в образе Нерона — символа деспотии — сольется воедино череда монархов-отравителей, мужеубийц и отцеубийц! В единый ненавистный символ абсолютизма вырастут и «корреспондентка философ» Екатерина, шагнувшая к престолу по останкам убитого супруга, и истеричный целовеконенавистник Павел, охотно расправившийся бы с матерью, если бы обстоятельства благоприятствовали, и «добрейший» Александр, хладнокровно приложивший руку к убийству отца...

Эти строки будут написаны много позже, в пору обобщений, но корни их заложены в «Путешествии из Петербурга в Москву», где только фиксируются, как в обвинительном акте, веки крепостнического произвола, возможного лишь при абсолютистской монархии.

«Путешествие из Петербурга в Москву» читает сейчас каждый школьник с интересом, соразмеренным программе. В 1790 году оно было сокрушением небес. Петербург трепетал: монархию о бунтовщике «говорено с жаром и чувствительностью». Арестованный 30 июня Радищев ждал смерти. «Прибывая незабываемым в душе», написал свое «Завещание».

Но, казнив Радищева, как стала бы переписываться Екатерина с тем же Вольтером? И вот, на диво легковесным европейским философам, «помилованный» Радищев сослан в Илимск на «десятилетнее безысходное пребывание». В кандалах и «гниусной нагольной шубе» отправлен по этапу. Впереди 6788 верст. Согласно названным жизненным правилам, Радищев бестрепетно ожидал смерти, теперь же — был «тверд в мыслях». Ибо: «Я тот же, что и был и буду весь мой век — Не скот, не дерево, не раб, но человек!» — напишет он. А стало быть, пренебрегая ссылкой, он будет действовать, он будет работать...

В Сибири написано многое... Ибо нужно было успеть сказать самое заветное: «Ты будущее твоё определишь настоящим». Он и определил. Томск, Илимск, Тобольск, Иркутск запомнили имя Радищева. Здесь он был деятельно счастлив и здесь познал многие утраты...

В 1797 году, после смерти Екатерины, по хлопотам друзей Радищев из ссылки вернулся. Это был блаженный путь. Радищев знакомился с людьми, записывал впечатления. Так были созданы «Записки путешествия из Сибири». Проводим взором счастливую путника в его далекое село Немцово — он еще не ведал, что настанет день, когда он вспомнит о сибирской ссылке с сожалением («Можете ли вы поверить, я сожалею, что не в Илимске!» — 15 декабря 1800 года, из письма к А. Р. Воронцову). Ибо его ждет прощение «лукавого византийца» Александра I и участие в очередной бутафорской «Комиссии по составлению уложения». Он еще не ведал, что представленные им проекты будут отвергнуты один за другим, а за ними последуют намеки о Сибири, куда, бывает, возвращаются. Он еще не знает, что всего через четыре года выберет смерть, чтобы не участвовать в бесчестном фарсе Комиссии, ибо подать в отставку — значит капитулировать, вновь встать перед бесчестием. 11 сентября 1802 года он примет яд и умрет в муках. Но пока мчится на ямщицких перекладных возок по знакомому уже великому кандалному пути, потянулась через

Кузнецкий край нить, запечатленная в памяти человечества. Здесь «места прекраснейшие, поляны, дубравы, для хлебопашества и скотоводства удобные». Но теперь это не просто описание природы, как в «Записках путешествия в Сибирь» на пути в ссылку, когда Радищев видит Сибирь еще «оком извне». На обратном пути он пишет больше о людях, об их делах, об их взаимоотношениях с «властями». Итак — возок уже миновал Ачинск, пересек Чулым...

«...до села Боготольского 28 верст. Дорога идет полями, еланями и березняками. Тайги остаются вниз по Чулыму, сперва не широки, потом около Сусловой, во 100 верст ширины, но выломаны погодой и выгорели, а шны зверя совсем нет, а прежде были хорошие промыслы. В сих местах появилась воздушная язва, и мерли люди, но лекарства не знают. Те, кои были собственные крестьяне, к Колыванским заводам не приписаны, не поселщики, но некоторые около Ачинска и Кийские, а гоняют почту».

Так 2 марта 1797 года в коротенькой записи схвачены самые существенные детали: красота местности, состояние природы, упадок промыслов, мор от язвы и темнота населения, род занятий. Дальше, как и в описании пути в ссылку, мы встретим знакомые нам места: «До Итаты (Итат.— М. К.) 34 вер. Здесь обещали. До Тажин (ныне местечко Старый Тажин.— М. К.) 33 вер. До Суслово 28 вер... В Итате и далее почту держат тобольские ямщики, платят за пару по 100 и 105 р. обывателям, но не сами, а купец у них снял, а сам может быть взял дороже. Здесь держат 12 почтовых и педельных еще...» Радищев верен себе — элемент эксплуатации ямщиков итатским кушом не ускользнул от него.

...Мы въезжаем в Итат мимо красивой водонапорной башни, которая возведена здесь сотню лет спустя. Ничто в описании Итате не напоминает радищевской поры. Разве два каменных здания, украшенные столь характерными для своего времени фронтонами, что прищельцами иного века стоят здесь по сей день... Добротные, защищенные коваными ставнями и дверями—детича былого купеческого и извозного Итата, где процветала ямская гоньба и напроць была нарушена патриархальность крестьянского быта,— их не мог миновать Радищев. Столь явно их торговое назначение, что путник, конечно же, должен был обратить на них внимание.

А теперь мы — в Старом Тажине, где тоже останавливался Радищев. Тогда каменистого магазина — лабаза, что сразу привлекает внимание каждого, здесь еще не было. Он появился полвеком позже, но несет в себе отпечаток старых архитектурных и «охранительных» приемов, задержавшихся еще на сотню лет на периферии огромной империи...

4 марта. Радищев проезжает Суслово (Марининский район), откуда «...до Кийского (ныне Марининск.— М. К.) на речке Кии 24 вер. Дорога везде одинакова, по речкам бывает лес, сосняк и слышник. По Кии есть деревушки старожилов».

Мелькают деревушки пыленного Марининского района. По записям Радищева можно установить не только их почтенный двухсотлетний возраст, но опять-таки — состояние крестьянства.

«...до Подбельничей 24 вер. Тут и в следующих приехали селиться 80 душ из окрестностей Екатеринбург, которые были приписаны к Демидовским заводам. Другие того ж хотя». Для Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» продолжается — по-прежнему, а может, и более, чем раньше, волнует его положение крестьян, только более зорко улавливает он малейшие болевые точки.

...Мелькают, мелькают деревушки. «От Подбельничей в 18 вер., в деревушке Тюменеве зимовье, жил крестьянин богатый Тюменев, который разбойничал или, лучше, давал пристанище разбойникам...»

«...до Берикулы (Берикуль.— М. К.) 80, до Почитанки 26, до Калыева (Кольон, Ижморский район.— М. К.) 22 вер. Во всех поселщики, которые за великою гоньбою по сим станам мало пашут, хотя пашни много. В Тюменеве зимовье за большой дом и двадцать десятин хлеба заплатил поселщик 900 р...»

Дальше Радищев встретит пономаря-безбожника и не преминет эту встречу зафиксировать: «В Калыеве (Кольон.— М. К.) нашел пономаря-балагура от церкви Спаса на Яе в стороне. Ему — на вино, он хотел поминать в церкви или на кабаке. Воду берут в ямах за 2 вер. От Калыева до Ишимов на Яе, где есть несколько старожилов, и по Яе селения. Дорога такова же березняками и еланями, до Ишимов, старожилы и поселщики, 22 вер. За разгонами и худой дорогой едем тихо».

Еще прошел день. **5 марта:** «В Ишимах пили чай, время выясняло (прояснилось.— М. К.)». Значит, Радищев не просто проезжал, но останавливался здесь и, по преданию, заходил в местную Спасскую церковь.

6 марта. Минула остановка в Томске, и вновь возок мчит по нашему краю: «Дорога от Томска до перевоза идет просторным полем подле возвышенного древнего берега реки, к которому она от перевоза отклоняется; тут питейный дом и крест над уопшим. На углу возвышенного берега выходят асид, гранит, кварцу белого много валяется; земля черная, из коей купорос и квасцы. Подле того белая фарфоровая глина, из коей посуду делают, но худо. (Значит, был здесь промысел, ныне угасший.— М. К.) За рекою лес темно идет в правой стороне, и в левой поле и луга

и деревень много татарских, и едут мимо их кладбищ.

Почту варюхинские гоняют одни, без подмоги. До Варюхинской (Юргинский район.— М. К.) по Черной речке 22 вер. Дорога идет перелесками, сосняком и полянами. Тут село и волость. Долго ждали лошадей ночью... От Варюхинской до Черновской 34 вер. ехали ночью. Дорога идет лесом — сосняком, где мало еланей и горы для пашни и сенокосов...»

7 марта. А вот 33 версты до Варюхина. Еще не стоят здесь украшенные деревянными кружевами дома. Может быть, в ту пору по всемо Юргинскому району, повсюду, где проезжал Радищев, стояли крепкие, замкнутые, скупо украшенные срубы, вроде того дома начала XVIII века, который по сей день стоит в деревне Талая, изумляя толщиной и свилеватостью бревен... В Варюхине Радищев холодно и гневно отмечает обнищание крестьян: «... по ту сторону Томска поселщики, сверх подушных и запасного хлеба платят еще и мукою» — и, соответственно, потеряв вкус к труду, безразлично собственное благоустройство: «Ехав к Ташере, повстречали 3-х поселщиков, которые исправляли дорогу, но для виду только. Сие делают и в других местах».

8 марта. «В Крутых Логах мужик кажется богат. Из поселщиков живущих иные довольно зажиточны. Плачевного зрелища старых и дряхлых, обнищавших, становится гораздо меньше и можно предсказать, что если разорительная рука начальства частого не прострет свое опустошение, если равняющаяся огню для сельского жителя приписка к заводам не распространится на Барабинских жителей, то благосостояние их будет лучше и лучше».

Каинск — это уже довольно далеко от Кузнецкого края, но регион — один, нравы — тоже.

9 марта. «Каинск, прежде острог, лежит на Оме, через которую летом перевоз. Место весьма плоское, одна церковь в середине города, строят каменную. Исправник — грубиян. Почти везде они славятся взятками...»

10 марта. «...В Голопутовой пьяный ямщик спорил о лошадях и говорил: «Не прежнее вам время, вас возят под чехлом, впереди ведут 60 генералов на канате». Видно огорчение против дворян и начальства».

Общая оценка выведена еще в первые годы ссылки в Илимске. Из письма 30 июля 1793 г. к А. Р. Воронцову: «Местный житель любит лукавить. Неограниченный хозяин своего скота и своих детей — а последние подчиняются его воле, если не с уважением, то по крайней мере с покорностью, превышающей уважение, — он желал бы жить и умереть никому неизвестным. Таков здешний житель. Таков он,

может быть, и во многих местах Сибири». И — другое илимское впечатление: «...Если в России человек из народа мстит, прибегая к физической силе, то сибиряк, желая отомстить, скажет: «Я его доведу». Если его спросят, каким способом, он ответит: «бумажкою».

...И далее, далее мчится возок к целасковой родине, где не раз еще будет поминаться в тайне души неторопливая работа над сибирскими рукописями, ибо здесь все уже было определено и худшего уже не ожидалось. Тогда как в глухом селце Немцове тень трона нависала, и душила, и подталкивала к последней черте...

Многие из сел нашего края, помняемые в беглых записках, изменили название, — два века для произношения и написания не проходят бесследно. Некоторых уже нет. Многие же существуют поныне под теми же именами — Зелёдеёво, Суслово, Ишим, Почитанка, Подъельничье, — особенно же Варюхино, с которым сплелось немало имен, вошедших в историю мировой культуры.

Как уже было сказано, в Яйском районе, в селе Ишим стоит церковь первой половины XVIII века, прекрасный образец русского барокко. Сейчас она внесена в списки культовых сооружений, подлежащих консервации с последующей реставрацией и использованием в сфере культуры. По преданию, у колоколов ее были «золотые звоны» и голоса их слышны были в Иркутске, к зависти иркутян, которые очень гордились своей Крестовоздвиженской церковью и не терпели никакого перевеса над ней ни в красоте, ни в знаменитости...

В 1964 году Ишимскую церковь начали разбирать на кирпичи. А между тем, с ней связано немало славных имен тех, кого скорбный кандалный путь вел в Сибирь...

В Ишиме была почтовая станция. После долгого перегона здесь полагалась ночевка, а значит, у ссыльных была надежда: попроситься в церковь. Изгнанники, конечно же, стремились под ее своды, где можно было в тиши, а главное, без соглядатая вкушать горечь воспоминаний. По местным преданиям, в ней бывали декабристы. Имению в ней по логике вещей должен был заказывать панихиду по недавно усопшей жене Радищева.

В ненастный осенний день высилась церковь перед нами померкшей жемчужиной. Мы стояли перед ней, опустив головы. Мы пытались представить это прекрасное творение российского мастерства во всем блеске и понять, каков был человек, который первым занес руку и обрушил на стройную его красоту удар топора, кувалды, камня... Мы пытались понять, каков внутренний мир человека, который сейчас, чуть не в преддверии

XIX века, разобрал старинный медово-коричневый деревянный дом, содрал с него тончайшей резьбы декор, и вновь собрал чуть не вплотную к этой церкви, потому что очень надеется, что ее все-таки разрушат, а на ее месте он разведет огород. (От огорода он ожидает урожая особых — «в церкви и ограде хоронили еще двести лет назад, так что земля добрая, плодородная...»)

В Итате, который во времена Радищева был богатым и многолюдным селом, сейчас сохранилось всего два упомянутых каменных здания XVIII века. Бывшие каменные купеческие лабазы еще и теперь, будучи один в запущенном, а другой в полуразрушенном состоянии, все еще хранят печать былой добротности и гармонии. И они, и Ишимская церковь, равно и Колыонский отсек тракта, где Радищев встретил ишимского пономаря-выпивоху, — страницы радищевского путешествия из Сибири на родину. Они хранят отблеск короткого мига надежды, озарившей жизнь изгнанника, и потому вызывают к нам о помощи и сбережении. Не капутные грядки на местах бывших памятников русского зодчества, а мемориальные доски с именем Радищева, улицу его имени вправе мы ожидать в Старом Тяжине, Итате, Ишиме. Ибо памятник, подобный Ишимской церкви, равен оратории, запечатленной в камне, а разрушение ее — оскорбление мастерства и неуважение к нашей истории, к имени великого изгнанника, который легким пером и быстрой мыслью графически точно запечатлел черты нашего края, каким он был двести лет назад, и, опережая время, пророчил Сибири великое будущее.

ГЛАЗАМИ СОВЕСТИ

(А. П. Чехов, 1860—1904)

Есть в Юргинском районе замечательное село — Варюхино. Памятник боевой славы в нем нестандартен. Варюхинский хор фольклорной песни — славится. Дома украшены такой деревянной резьбой по наличникам и карнизам, столько сохранилось здесь прилично-нарядных ворот, что Томску, признанному сибирскому центру «деревянных кружев», в пору. Да и немудрено. Томск — рядышком. Все, кто держал путь к нему, обязательно побывали в Варюхине. Здесь — переправа через Томь, к селу Ярское. Здесь же была ямская гоньба...

Несколько лет назад юргинский краевед Илья Половинкин доказывал, что по пути на Сахалин Чехов не мог не проехать через Варюхинскую переправу — одна была переправа на Томск! — и останавливался здесь, и даже «Варюхинское сидение» свое описал, хотя само название села не поминает в письмах, напи-

санных в пути. Кабы знали именитые путники, записывающие свои дорожные впечатления, сколь многое зависит — увы! — от их забывчивости для мест, через которые лежал их путь, они, наверное, были бы предельно точны и каждую деревушку помнили бы обязательно поименно... И получилось, что Илья Половинкин ничего не убедил. А тем не менее...

Год 1890-й. А. П. Чехов едет на Сахалин. Влекомый той волной притяжения, которая отхватила цвет русской интеллигенции в конце прошлого века и послала в Сибирь. Может, это была волна национальной совести, велевшая обратить, наконец, внимание на периферийные сибирские просторы. Может — начинали сбываться пророчества Радищева и Ломоносова: «Сибирью слава России приумножится...»

О Сахалине Чехов думал пристально.

Из писем А. П. Чехова к А. С. Суворину, 9 марта 1890 г., Москва:

«...Из книг, которые я прочел и читаю, видно — мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гонили людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красносохх смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно... Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации. В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего; тюремное устройство совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе...»

...Красный Яр, 14 мая 1890 г.: «14 выпал снег в 1-1/2 вершка. О весне говорят только утки... Ну-с едем, едем... Мелькают верстовые столбы... Деревни здесь большие, поселков и хуторов много. Везде церкви и школы; избы деревянные, есть и двухэтажные...»

Чехову поменяли. Ярский заседатель, он же становой, пожелал познакомиться с проезжим. Письмо прервано — Чехов закончит его только через два дня в Томске, дописывая доярские происшествия: «...14 мне опять не дали лошадей. Разлив Томь...» Ему советуют доехать до Томи — всего 6 верст. А там некий Илья Маркович свезет Чехова до Ярского через Томь. Сказано — сделано. Но на берегу лодки нет — уплыла с почтой. Томительное ожидание. «Возвращаюсь назад на станцию, тут три почтовые тройки и почтальон собираются ехать к Томи. Говорю, что лодки нет. Остаются». Затем — подарок судьбы! В ненастный

печер, в чужой избе — домашний уголок. Писарь сообщает, что у хозяйской дочки есть щи, и: «О восторг! О пресветлый день! И в самом деле хозяйкина дочка подает мне отменных щей с прекрасным мясом и жареной картошкой с огурцом...» На станции встреча с почтальоном, «человском потерпевшим», который стесняется сидеть при Чехове. Добираются вместе до Томи, где ждет неправдоподобно длинная лодка. Путь был не без особенностей — кто знает, где отдадутся отзвуки этой грозы на Томи: «Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать непогоду в кустах тальника... стали решать большинством голов и решили плыть дальше... Плыли мы молча, сосредоточенно. Помню фигуру почтальона, выдавшего виды. Помню солдатику, который вдруг стал багров, как вишневый сок. Я думал: если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто, потом валенки... Но вот берег все ближе и ближе...» Так Чехов прибыл в село Ярское.

Здесь, описывая заседателя, то бишь станового, помешавшего ему закончить письмо, отнюдь не яркий уникум, а фигуру типичную, многожды встреченную в пути, фиксирует цепкий сочинительский взор: «Заседатель — это густая смесь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пьяница, развратник, лгун, певец, анекдотист и при всем том добрый человек. Привез с собой большой сундук, набитый делами, кровать с матрасом, ружье и писаря... Писарь прекрасный интеллигентный человек, протестующий либерал, учившийся в Петербурге, свободный, неизвестно как попавший в Сибирь, зараженный до мозга костей всеми болезнями и спившийся по милости своего принцепала, называющего его Колей...» — Чеховский акварельный набросок. И когда яркий заседатель посылает за наливкой, вопя: «Доктор! Выпейте еще рюмочку, в ноги поклонюсь!», то это всерегионный мелкий чиновник, местный «царек», сфокусирован в безымянном прототипе. Недаром же далее идет обобщение: «Трескает власть здорово, врет напропалую, сквернословит бесстыдно. Ложится спать, утром опять посылает за наливкой». Может, именно во время «варюхинского сидения» проходило стадию кристаллизации обобщение, превратившее станового в некое единство: «власть». Ибо сколько осевших впечатлений должны были сгуститься где-то очень вблизи от ярского письма, может быть, ожидаая последней капли — «потерпевшего» почтальона, или ярского «царька», — чтобы столь безошибочными мазками наметились контуры истинно чеховской ситуации. «Ярский момент» — такая же общерегионная зарисовка, как и те, что так поразительно перекликаются с радищевскими записями: «Царит сегодня черная оспа... Больниц и врачей нет». Прошло сто

лет — а регион так мало изменился... Но есть и новые черты, проложенные на лике Сибири. Много позже радищевского путешествия «попадают» ссыльные, присланные сюда из Польши в 1864 году, хорошие, гостеприимные и деликатные люди. Одни живут очень богато, другие очень бедно и служат писарями на станциях. Первые после амнистии уехали к себе на родину, но скоро вернулись назад в Сибирь — здесь богаче, вторые мечтают о родине, хотя уже стары и больны». Сколько таких повидала варюхинская переправа? Вот чеховская картинка, которую мы могли бы найти в любом селении региона тех 60-х годов: «В Ишиме один богатый пан Залеский угостил меня за 1 рубль отличным обедом и дал мне комнату выспаться; он держит кабак, окулачился до мозга костей, дерет со всех, но все-таки пан чувствуется и в манерах, и в столе, и во всем. Он не едет на родину из жадности, когда он умрет, дочка его, родившаяся в Ишиме, останется здесь навсегда — и пойдут таким образом множиться по Сибири черные глаза и нежные черты!» Но ведь это уже заготовка для чеховской повести — деликатной, щемяще-печальной и все-таки беспощадно сдирающей обертку с пошлости... И ведь не выборочно, а по всей Сибири повседневные такие картинки: «Вот перенали переселенцев, потом этап... Встретили бродяг с котелками на спинах...»

Однако вот что особо примечательно: «Путь между Тюменью и Томском давно уже описан и эксплуатировался тысячу раз...» — в пути Чехов своему издателю А. С. Суворину писать не намеревался. И все-таки — именно после «варюхинского сидения», где, может, оформлялись мысли в слова, письмо в Ярском начато. Не ожидая Томска, берется Чехов за перо, так переполнен он впечатлениями...

Много позже Чехов напишет: «Сделано немало, так что хватило бы на три диссертации». Но это — потому что эпитафией к сделанному было: «Я видел все; стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как...» (из письма к А. С. Суворину, 11 сентября 1890 года. Пароход «Байкал», Татарский пролив).

Мы не станем вновь доказывать факт пребывания А. П. Чехова в Варюхине. Думается, И. Половинкин однозначно это доказал; напоминаем: против села Ярского, что и сегодня белеет «на том берегу» Томи, кроме варюхинской, иной переправы не было; равно со времен Радищева почтовая станция на этом месте была именно в Варюхине.

Но, подхватив мысль Половинкина и стремление его к тому, чтобы имя Чехова по сей день правомочно звучало не только в Варюхине, но и во всем нашем крае, обратим внимание на иное: каково могло быть значение

столь малозаметного факта в путешествии Чехова на Сахалин, как вынужденная остановка в Варюхине. (Впрочем, бывают ли в биографии писателей чеховского масштаба факты малозначительные или бесследные — кто знает, как отразится увиденное и пережитое в будущем творчестве?) Именно поэтому так важно это чеховское «как видел».

В № 20 от 9 мая 1892 г. во «Всемирной иллюстрации» появился рассказ «В ссылке», предваренный анонсом. «В ближайшем номере «Всемирной иллюстрации» появится новое произведение нашего высокоталантливого беллетриста Антона Павловича Чехова «В ссылке (Бытовой очерк)».

Итак — рассказ «В ссылке». В нем мы найдем множество переключек с «Варюхинским сидением» и со многими моментами из ярского письма. Например, длинную варюхинскую лодку узнаем мы там, где «Шагах в десяти текла темная, холодная река; она ворчала, хлопала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом»... Но вот баржа поплыла меж кустов тальника и «было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплыли на нем в холодную, унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара...»

Тальник... На варюхинской переправе его — целые заросли. И глинистый обрыв — вот он, и «выше лепятся деревенские избы».

И не сродни ли почталону, «человеку потерпевшему», который стесняется есть при Чехове, ямщик из рассказа «В ссылке»? Он встречается на барже с ссыльным, и потому, что тот — барин, хоть и бывший, ямщик нарочито просит позволения покурить в его присутствии...

Не к ярскому ли письму, не к кристаллизации ли впечатлений той поры тянется ниточка от перевозчика Семена, прозванного Толковым, который признается: «Он (бес!) тебе насчет воли — а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их в душу!» Не от тех ли встреченных Чеховым поселенцев, пригнанных по этапу («...Встретили бродяг с котелками на спинах...») эта отчаянная свобода от всех и всяческих связей и желаний, потому что память о бывлой жизни — от лукавого.

Не от встреченного ли в Ишиме ссыльного поляка, появился «В ссылке» барин-поселенец, который сперва был полон надежд, «хочу, говорит, своим трудом жить в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец», потом, незаметно для самого себя, внутренне прошел неизбежный в изгнании

путь к «освобождению» от желаний и привязанностей, при котором уже можно утверждать — «и в Сибири люди живут!», не замечая собственной бедственности. «Переключается» как будто и дочь инимского пана, от которой «пойдут множиться по Сибири черные глаза и нежные черты», с дочерью ссыльного барина, «красненькой, чернобровой и права бойкого», на которую отец глядит с гордостью, приговаривая опять же: «И в Сибири бывает счастье! Поглядите, какая у меня дочка!» И не замечает, что у дочки — чахотка. По пророчеству Семена, барышня «помрет непременно, а он повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его пойманот, потом суд, каторга, плетей попорбует...»

Это здесь, в наших краях, сплетаясь из отдельных черточек, подмеченных цепким взором писателя в селах, на почтовых станциях и на проселочных дорогах, рождался магический сплав: будущие рассказы, в которых лишь еле уловимыми бликами мелькнут знакомые по письмам из Сибири контуры ситуаций и персонажей... Рассказы о поломке человеческой души. О бескорисвой и горькой «свободе» человека пришлое, закинутого в Сибирь ссылкой. О коре жестокости и о побегах добра, что растут на изломах судьбы...

В Варюхине, на улице Центральной, сохранился маленький домик, где у Федора Ивановича Серебренникова останавливался А. П. Чехов. Сейчас в этом доме живет Апатий Николаевич Серебренников, которому дед Акила Федорович не раз говорил об услышанном от своего отца — о том, как ненастным вечером, чуть сутулясь и потирая руки, ожидал переправы заезжий писатель, а также рассказывал дед внуку то, что и сам помнил, какой здесь был большой двор и какие останавливались бойкие ямщики...

«Домик Чехова» — ничем не примечательный, с неброским декором паличников. За последние его лет, по словам старожилов, дом не перестраивался. Он явно ждет своей мемориальной доски. Так же — как и ближайший соседний дом Ивана Ивановича Боборыкина. Он прилегал к той почтовой ямской станции, что звали Чехова. Сейчас ее нет. Вместо нее — обширная, похожая на пустырь площадка. По словам старожилов, дом Боборыкина стоял рядом со станцией «от века» — значит, был его современником. Сами же Боборыкины были в родстве с Кириллом Ефимовичем Серебренниковым, который «держал почту».

Имя Чехова давно ожидает свою улицу в старом ямском селе Варюхине, а ямщина и все сопутствующие ей промыслы в нынешнем Юргинском районе — шорные, седельные, кузнечные, отливка бубенцов, роспись дуг — тема

для особого исследования. Самое же увлекательное исследование — поиск тех ростков, которые ввели в творчество Чехова впечатления «варюхинского сидения», или откristализованные в это краткое мгновение размышления и выводы предшествующих дней путешествия по Сибири.

СИБИРЬ — БЕЗ ПРИКРАС

(Н. Г. Гарин-Михайловский, 1852—1906)

«В искусственных условиях одинаково умирают и человек, и животное, и растение...» Эти слова можно считать эпиграфом не только к одному из лучших рассказов Н. Г. Гарина-Михайловского «Матренины деньги», но и ко всему его творчеству.

В отличие от Чехова, отзвуки путешествия которого мы читаем лишь в косвенном отражении, Гарин-Михайловский подробно описал свое пребывание в нынешних Яшкинском и Юргинском районах, где в 1891 году намечал трассу будущей Транссибирской магистрали.

Гарин был человеком иной тональности, чем Чехов. Он был прежде всего «делателем». Он жаждал приложить руки к миру, который считал весьма несовершенным. В своем видении он шел скорее по стопам Салтыкова-Щедрина, голос которого еще очень недавно смущал умы...

Совершенно как и Достоевский какими-нибудь тридцатью годами раньше, Гарин-Михайловский именно в Сибири, то есть в самом обнаженном варианте, увидел многие беды и язвы полицейско-чиновничьей царской России. В письмах 1891 года он, как бы дополняя Наумова, Берви-Флеровского и Салтыкова-Щедрина, вступает с ними в своеобразный диалог...

«Несвежесть сплошное, кулачество в страшном ходу и сила его в невозможной эксплуатации разных народностей. Остяки, буряты и все остальные — споены, развращены своими эксплуататорами до последнего...» (Из письма от 19 июля 1892 года. — Н. Г. Гарин-Михайловский, собр. соч., т. 3. М., 1957, стр. 649). Какое созвучие с присловными впечатлениями писателя Наумова...

Гарин вполне соответствовал горьковскому определению — «поэт труда». Он любил и умел работать. Очерк — его стихия. Его герои никак не напоминают «мужичка, раскрашенного в красный цвет и вкусного, как вяземский пряник». По мнению А. М. Горького, «он считал себя марксистом, потому что был инженером... будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденно-го от крепких пут классовой государственности». Будучи инженером — он не мог не взять-

ся за Сибирскую железнодорожную магистраль. Будучи литератором — тем более. Ибо считал, что искусство должно «будить душу» и звучать в нем должны полноправно «слезы, стоны, презрение, ненависть, проклятие». Сибирь могла предоставить писателю соответствующий материал в изобилии. Это была пора, когда она только и ждала своих писателей, и гаринское презрение к «суетным палацам, буквой учения калечащим и убивающим душу живую», равно и убежденность, что «без свободной женщины — мы вечные рабы, подлые, гнусные рабы, со всеми пороками рабов», — сибирским мотивам были вполне созвучны. Со времен кузнецких зарисовок Берви-Флеровского прошло 30 лет, а проблема «рабства, всасываемого с молоком матери», в Сибири ничуть не потеряла остроты...

Сибирь влекла к себе Гарина-Михайловского. Она все больше оказывалась в фокусе общественного внимания. Она казалась «беззастенчивой», а оказывалась непостижимой.

«Вспоминаю я слова одного сибиряка, — надо знать и понимать Сибирь. Во многих футлярах она: казенная, чиновничья Сибирь, купеческая, крестьянская и инородческая, переселенческая и раскольниковичья, и глубже, и глубже, до самой коренной бродяжнической Сибири. Вот она какая, эта вольная, неделинная Сибирь. И что в ней, в самой коренной, того никто еще не знает и не ведает, и если бы нашелся человек, который поведал бы, да смог бы рассказать о том, что там, тогда бы только узнали, где предел силе и мученичеству русского человека, какими страданиями и горем вынашивает он любовь свою к волеволюшке вековой... Пока же здесь вследствие отсутствия капиталов, железных дорог все спит или принижено, захваченное бесильными и неискренними руками, но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет еще здесь, на развалинах старого — новая жизнь».

Эти слова будут написаны много позднее в путевых заметках 1899 года. Но в этом путешествии Гарин-Михайловский будет вспоминать все тот же год, 1891-й, когда он прокладывал по Сибири первую трансмагистраль — время, когда «как последняя новость сообщался рассказ об исправнике, который, скушив у киргизов ветер, продавал киргизам же его за большие деньги (не позволяя везть хлеб, молотить его на ветряках и проч. и проч.)». Невольно напрашивается ассоциация — не оброс ли легендой современник Достоевского, упоминаемый у писателя Наумова кузнецкий исправник Катанаев, скупавший за фальшивые деньги соболиные шкурки у шорцев и телеутов?

Итак — путеец Михайловский, писатель Гарин — в Сибири.

...19 мая 1891 года во Владивостоке торжественно отмечалось начало строительства Великой Сибирской трансмагистрали, и в июне Гарин-Михайловский отбыл из Томска на поиски вариантов. Но прежде — удивительно в унисон с чеховскими впечатлениями («Томск описывать не буду, город скучный, не трезвый... бесправие азиатское...»), на случайных листках, полусловами, какой-то особой собственной стенографией, о которой впоследствии вспомнит Горький, — сделана запись: «...Провинция глухая, скучная провинция, колесо жизни которой перемолотило все содержание этой жизни в скучное, неинтересное и невкусное мелево». Но разве не подобным же виделся Берви-Флеровскому Кузнецк — плохонькая копия с Томска?

...За сто лет до того Радичев дивился не только богатству Сибири, но и инертности встреченного им сибирского крестьянства. Похоже, мало что изменилось и ко времени, когда Гарин-Михайловский приглядывался к треугольнику меж Обью и Томью в поисках наилучшего варианта дороги и лопутно сопоставлял крестьянство европейской части России с сибирским. Оно казалось ему весьма сходным в одном: «...никаких потребностей: сыт и ладно. Заботливости об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы — никакой... хозяин этой жизни — нужда, бесконечная, суровая, беспощадная нужда, которая ведет свою жертву, не давая ему в утешение даже сознания, что он жертва». (В одном из писем к жене 1891 года.)

...И совершенно как при Радищеве, в пыльных Юргинском и Яшкинском районах преимущественно живут извозом. Ибо извоз кажется легче и прибыльнее, чем землепашество. Недаром же тальцам в округе завидуют: «вся ямщина — лопатой деньги гребет...»

Ямщицкая вольница и купеческий норов — тема многих сибирских преданий. Но как же стойки они, если поминаемая вскользь у Радищева фамилия купца Тюменева всплывает через сто лет в записках Гарина, все в той же тревожной связи с ямским разбоем, по уже изукрашенная легендой о заговоренности злодея Тюменева от любой пули. Предания растут на крепких корнях. По пути в деревню Талы (Тальская) стояли в гаринскую пору пять домиков и около — мельница. Мрачные сказы о фальшивомонетчиках и убийствах оведали их. Будто от столь темных истоков шла зажиточность их хозяев. И что же? «Отличный мужик, дай бог ему здоровья», — рассказывает об одном из обитателей этого гнезда гаринский ямщик. — Если бы не он, наша бы деревня совсем пропала...» Нет, конечно, недаром «спасал» добродетель ямщицкую деревню, пренебрегшую крестьянством:

«Где даром? Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может, две-три гривны дорожке возмет, да ведь даст природу помощи!» Очевидно, доверчивые тальские жители никак не задумывались, всегда ли летоки богатства таятся только в грабже на большой дороге...

Впрочем, что удивительного? Показывая чудеса ямщицкой джигитовки, ямщик изумляет Гарина убежденным рассказом о змее, которая забирается снующему в горло, потом «прямо к сердцу присасывается и пьет из него кровь...» Около мельницы в Сосновке, что и сейчас обозначена на карте Яшкинского района, жила это лет назад знаменитая знахарка, мастерица изгонять зловредных «кровопивных» змей, и все в округе очень ее уважали... Да что — знахарка!

Проезжал Гарин-Михайловский станцию Варюхино. Большая бойкая станция. Только грязная. «Село как все здешнее. Издали это потемневший склад всякого лесного хлама. Тес сквозит, сруб без крыши; покосившиеся избы, иная совсем запрокинулась, а внутри чисто, цветы, пол обязательно устлан местной работы ковром». (Очевидно, в деревенских домах Кузнецкого уезда чистота была особо приметная, коли, изумляясь, отмечают ее все путники, побывавшие здесь, еще с поры Радищева!) И наконец Тальская, где Гарин вел работы. Перекур. Разговоры — вокруг дороги. «А наши которые старухи толкуют, что, как пройдет она, так и свету конец...» Высказываются и менее пессимистические мнения: «С иконами ежли против нее выйти — она не устоит...» И — после разъяснений Гарина: «Глупый ведь мы народ. Тут как-то один на двух колесах (велосипеде) проехал — так которые со страху на землю попадали: антихрист, дескать едет...» (А ведь несколькими годами позже точно так крестились старухи, помяная антихриста, при виде впервые появившегося в Кузнецке парохода «Томь», и сын смотрителя местного уездного училища, пытливый мальчик Веня Булгаков, уже предназначал судьбой в летописцы явления, обрисованного более полувека спустя в его рукописи «Дальнее детство»...)

Ямщики — ямщики... Здесь даже здороваются по-ямщицки — «па перенуте!» И соревнуются, подначивая друг друга: «Наша деревня Тальская — охотинки возить, на тракту живем — завсегда заработок. А вот Поломошная, к примеру, всего в пяти верстах, а за рекой, негде взять копейку: колотятся!» (Не отсюда ли название деревни Поломошная — поляя мошна, то есть пустая мошна, — ведь сказано: в селе извеску «колотятся»...)

В повествовании исследуемого Гариным территориального треугольника так и вспыхивают маленькие трагедии. Добродушнейший ямщик повествует о собственном вероломстве,

как о занятом путевом приключении: «...Выходит человек из лесу. Свези меша, говорит, в Яр. Я гляжу: что такое, чего едет человек? На расспросы путник признался, что сбежал от конвоира в Варюхино. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехал в Яр, остановил я посреди деревни лошадей и крикнул: «Люди православные, ловите его, это арестант, ушел из Варюхиной, да ко мне пристал!» Ну, тут его и схватили...» На вопрос, не жаль ли арестованного — хладнокровная раскладка: «А как же он подводил солдата. Ведь солдат за него пошел бы туда же... И бил же его солдат, как привели назад... Уж тут так выходило: либо тому, либо другому пропадать». Вполне «по Достоевскому» и сродни «Запискам из мертвого дома», где страшнее всего не столь произвол, а духовная слепота, порожденная вековыми устоями рабства и невежества...

...Этим летом мы вновь побывали на Варюхинской переправе. Мы даже нашли следы нигде не упоминаемого пыле села Басалаево, которое, по словам Гарина-Михайловского, пошло от екатерининского солдата с такой фамилией и населено сплошь Басалаевыми. По свидетельству старожилов оказалось, что село Алаево, как бы вырастающее из Варюхины и продолжающее его, раньше называлось Басалаево. В нем и сейчас живут несколько семей с фамилией екатерининского солдата.

Варюхинская переправа... Сколько еще сказов таит она об искалеченных судьбах, отданных на произвол мелких казенных мучителей в захолустье, в котором почерпнуты записанные Гариным рассуждения коренных жителей. Гаринская Сибирь — без прикрас: «В городах, по трактам везде казенное клеймо, на каждом шагу. Вот чувствую: если казенный вы человек — вам место, не казенный — вы так себе, терпеть вас только можно...» Это при том, что: «...В Сибири уж такое положение. Все только исполняющие должность» — не ревнители дела, к которому приставлены, а только исполняющие роль, каждый в своем ведомстве.

...На станции Тутальская Яшкинского района стоят датированные 1895 годом водонапорная башня и деревянное здание вокзала, которые помнят Гарина.

Может, неподалеку от варюхинской переправы, сестрински связанной с великим кандалным путем и тающей немало еще непознанных былых трагедий, вместе с А. М. Горьким вспомним о светлом гаринском порыве: «Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас...»

„ЧТОБ МНОГОЕ НА СВЕТЕ ПОЛЮБИТЬ...“



В новом поэтическом сборнике М. Небогатова «Лето» образ тихой радости — как сквозное окно в его поэзии, стихийная и вместе с тем обладающая глубоким нравственным дыханием сила. Каковы же ее начала?

Может, это светлое чувство собственного детства, не дающее ослабеть кровному родству, не позволяющее померкнуть радостному удивлению, которое помогает поэтическому отбору, — отзывается на неназойливое, нешумное, на то простое и вечное, что дает смысл и значение жизни?

Не случайно, один из самых любимых поэтов М. Небогатова — А. Твардовский: «Любовь к поэзии Твардовского родилась во мне еще в довоенное время», — вспоминает Небогатов. И есть что-то очень характерное в том, что именно с ним посчастливилось состоять Небогатову в непродолжительной, но важной для его творческого становления перелиске.

М. Небогатов — участник Великой Отечественной войны. Но грохочущие рубежи войны не смогли заглушить или притупить в нем теперешнего чувства мягкого, непритязательного лиризма. Видимо, здесь вступает в силу неписанный закон поэзии, согласно которому стихи рождаются в самой безобидной части души, в самых укромных ее уголках. И если говорить о сегодняшнем Небогатове, то его поэзия словно прикрыта от трагических нот зеленым щитом образа родной природы. Но, конечно, глубинные корни его творчества уходят в изломанные войной пласты

бытия поэта. И именно в них заключены скрытые мобилизующие силы его лирики. Ведь в беспощадном зареве войны обнажились социально-нравственные основы человеческих отношений, словно воочию обрели для поэта такую неизмеримо высокую цену. Отсюда — очень точный психологический образ первых дней лихолетия:

Осталось лишь облако пыли.
Кормильцев увез грузовик.

Именно «кормильцев»: пахарей, плотников, печников — людей труда, создающего и поддерживающего в человеке ощущение равновесия духа, полноты и смысла жизни, то есть того, что притягивает души друг к другу, крепит родственные, семейные узы. Война обнажила для поэта поистине кровную связь между природой и человеком, их единство. Нарушение его — непоправимое бедствие в человеческом мироотношении. «Осталось лишь облако пыли...» вместо созидателя, творца, преображающего землю. Без него она заглохнет, замрет.

Неприхотливая любовь земледельца, сеятеля словно растворена «в древесном шуме посреди... трав», и уже этот неясный шум и становится выражением любви лирического героя ко всему живому. Поэзия Небогатова жиза воссоздающей памятью, незамутненным нравственным дыханием поколения, не вернувшегося с большой войны, постоянством ненарочитого человеческого чувства. Война не стала главной темой творчества поэта,

она — как бы главный психологический рычаг, посредством которого был отодвинут в его поэзии драматизм житейских бурь, экспрессивность бытовых катаклизмов. Трагедия лирического героя словно влилась в жизнеутверждающую песнь родной земли, став «улыбкой зари» и «закатной печалью». Человек в поэзии Небогатова — как бы продолжение природы: «Летом всякая грусть-меланхолия коротка, как июньская ночь». Любая птица — живое выражение внутреннего состояния зеленых просторов: «Вестники тепла — весь день с рассвета ласточки летают высоко». Деяние рук человеческих — «дыханьем лета в дом войдет». Такое внешне бесконфликтное взаимопроникновение создает в поэзии Небогатова свою образную лирическую погоду, при которой поэтическое чувство принимает плавное течение, давая о себе знать полусветом, уравновешенностью тона:

День хороший провожая
И приветствуя закат,
Песня русская простая
Полилась с рекою в лад.

Этот радостный лад внутреннего соответствия характера человека и природы создает в стихотворении необходимые условия для переливания лирической крови: человеческое чувство словно заполняет собой все сосуды и капилляры окружающей природы. И в поэзии происходит то, ради чего она существует — открытие:

И с волненьем возле брода
Долго слушал я тогда,
Как поет сама природа:
Лес, камыш, закат, вода.

Лето не случайно одно из самых желанных времен года в лирическом календаре Небогатова. Может быть, оттого, что летом зем-

ля сама словно помогает рассмотреть себя под яркими лучами солнца — от верхушек зеленых берез до желтых песчинок на дне прозрачных родников. Может, оттого, что летом становится ощутимей близость природы, ее не только чувствуешь, но и осязаешь всем теплом: вдруг пронизает теплым порывистым ветерком или обоймет обжигающей прохладой речная быстрая вода. Июнь высвечивает щедрыми лучами все морщинки и родинки на телах деревьев и трав. И видит поэт в малом — великий его смысл.

Вот «с корня — земляничка», — она пахнет детством, безмятежностью, непрехотливой красотой жизни:

В твоем б оставить —
Там не скрыто дна,
Да во рту растаять
Просится она...

Создается особый мир — вроде бы совсем обыденных примет, полный предметов реального бытия, и в то же время в нем нет места духовной заземленности. В поэзии Небогатова присутствует особая красота — красота ненарядности. Его поэтическое зрение обращено прежде всего на эту неприметную красоту, мимо которой проходишь каждый день, не замечая ее. Чувствовать рядом присутствие необычного, собирать по крупичкам непрехотливую радость, рассыпанную родной природой — редкое свойство поэта и человека, и невольно хочется повторить про себя вслед за ним:

Как мало надо сердцу человека,
Чтоб многое на свете полюбить.

Поэзия Небогатова распахнута навстречу утреннему, спокойному, тихому, а потому бессмертному свету над родной землей, в котором словно растворена великая целебная, омолаживающая душу сила — чувство Родины.

МЕТЕОР

Ночью в небе что-то страшно прогудело, и стало вдруг светло, как днем. Вся окраина была поднята на ноги, но так как это загадочное явление прекратилось так же быстро, как и началось, сон скоро взял свое, и окна одно за другим погасли. Еще некоторое время побрежали взволнованные собаки, но потом и они затихли.

Утром Никодимов вследствие беспокойной ночи встал поздненько, вспомнил, что сегодня суббота и надо топить баню. Не спеша вышел во двор, направился было к бане, но, когда окончательно протер глаза, остолбенел. Вместо шиферной крыши над баней торчали голые стропила. Мухтар у своей конуры тихонько скулил и виновато поджимал хвост.

Никодимов, бормоча крепкие слова, взобрался наверх, осмотрел стропила. До чего же аккуратно работали, подонки! Нигде ни щепочки, и даже гвозди все на месте торчат, взяли только шифер. А среди пыльного чердачного хлама чистейшим алмазом блестела... бутылка «Пшеничной».

У Никодимова пробежал по спине суеверный холодок. Бутылка «Пшеничной»... Как раз во столько и обошелся этот шифер, именно за бутылку удружил ему двоюродный брат Антон со своего склада тридцать листов, которые этот ловкач каким-то образом смог списать как негодные. Но какая же сволочь могла дознаться!

Никодимов привычным движением сунул бутылку под полу и, погруженный в горькие размышления, пошел в дом с намерением одеться по-выходному и немедленно — в милицию. Но тут открылась калитка, и быстрым озабоченным шагом вошел во двор Антон.

— Выручай, брательник, — сказал он. — Неудобно обращаться, но и опять же: черт его знает, куда что девается! Ведь на складе у меня никогда и гвоздя не пропадало, а тут в своем доме черт-те что. Вчера поставил в холодильник поллитровку, думал с одним человеком дельце провернуть. Собираюсь с утра, за бутылкой — шаша, а там — фью! — Он сделал рукой соответствующий жест. — У тебя, случаем, где-нибудь не зачачено!

Никодимов хотел по привычке отказать, но, как часто бывает в критические минуты, каким-то неосознанным движением вытащил вдруг бутылку на свет божий.

— Ну, красота! — обрадовался Антон. — Хотя здесь повезло, а то в магазинах сегодня может и не быть, — он торопливо выхватил бутылку у растерянного Никодимова и сунул в карман. — Ну, значит, до понедельника.

В другое время Антон поболтал бы еще, но сегодня он спешил, и когда собрался уже уходить, калитка открылась вновь.

— Последний noneший денечек... — дурным голосом пропел вошедший, выписывая ногами кренделя. Антон и Никодимов не без труда узнали в нем соседа Валентина Глотов, который слыл малопьющим. Сегодня он был без своей обычной шляпы, грязен и растрепан. Большое горе, видать, свалилось на человека, колы так скрутило.

— Витек, — проговорил Глов, подняв мутный взгляд на Никодимова, — я против тебя ничего, я тебя уважаю... А ты, Антон, хитрый черт... ух, хитрый... — потом он глянул на Антона потрескавшимися вдруг глазами и, поняв, наверно, что болтал лишнее, икнул и замолчал.

Но в своем теперешнем состоянии долго молчать он не мог.

— М-мо-огу предложить, — деловито сказал он и начал что-то тащить из оттопыренного кармана. — Витек... я тебя уважаю... из горла не будем... — бормотал он, достав между тем заткнутую газетой мутную бутылку.

Никодимов сходил за стаканом. Когда он вышел, Глов уже сидел на крыльце и горестно рассказывал Антону.

— ...сно значит, гр-р-р, аж окна вот так вот, — он вяло потряс кулаками в воздухе. — Ну, а я — ничего, покурил, да дальше спать. Утром вышел — опять ничего. А потом в гараж заглянул — ы-ы-ы... Глов уронил голову на колени и зарыдал.

— Представляешь, наполоам! — продолжал он через минуту. — Прямо как автогеном! Как по линейке... По коробке, по кардану, по всему... Ух, гады, узнать бы, кто!

Никодимов вопросительно взглянул на Антона, и тот шепотом рассказал, что у Глотов ночью кто-то перерезал машину, автогенный или черт знает чем. Одна половина осталась, а другая бесследно исчезла прямо из-под замка.

Глотов немного успокоился, налил сначала полный стакан Никодимову, потом себе и наконец полстакана Антону. Выпили.

У Никодимова в голове начало что-то проясняться. Ага, если, значит, исчез шифер, приобретенный за бутылку, а у Антона исчезла эта самая бутылка... Так, так...

— Валентин, скажи по правде, — осторожно попросил он Глотову, — ты машину на какие деньги купил?

— Да как ить... на кровные! Половину я честным трудом заработал, — он постучал себя кулаком в грудь, — а другую половину — на рыбе. Сам в Кине сетями ловил, ночи недосыпал. Ить оно же все кровное! Три года казенную водку не пил, одну эту сразу, — он сердито пнул опорожненную бутылку. — По рублику собирал. А они, гады, автогеном прям по кардану!

— Да... неопределенно протянул Антон.

Никодимов, почесывая затылок, задумчиво смотрел вдаль. Случайно увидел проходившего по дороге соседа, своего старого учителя.

— Петр Мартынович! — закричал он, подхватившись с крыльца. — Зайдите-ка к нам, дорогой. Серьезно! Прощу вас.

Старый учитель неторопливо вошел во двор, вежливо, но с достоинством поздоровался.

— Петр Мартынович, — обратился к нему Никодимов, — вы в свое время химию ведь преподавали?

— Да-да. А что!

— Эх, Петр Мартынович, тут у нас такая химия получается, что полосы дыбом.

И Никодимов подробно рассказал, что обнаружил каждый из них утром, не забыв упомянуть и про глотовскую рыбу, и про свой шифер, купленный за бутылку.

— Ах, вот даже как... — Петр Мартынович задумчиво улыбнулся, поставил на крыльцо авоську с овощами и присел рядом. — Ну, тогда многое становится понятным. Сейчас я вам, ребята, кое-что постараюсь объяснить. Вы слышали сегодня ночью такой сильный-сильный гул?

— Ну, еще бы. Всех всполошило...

— Ну так слушайте. Я, значит, так понял: Антон уступил тебе шифер за бутылку! — Петр Мартынович загнул один палец. — Ночью шифер исчезает, а бутылка возвращается. — Он загнул другой палец. — В то же время

исчезает бутылка из холодильника у Антона. Теперь Валентин. Он заработал на полмашины, промышляя рыбу запрещенными орудиями лова. И ночью эта половина исчезает.

— Все так, — вздохнул Никодимов.

— Несомненно — это антимира... — произнес Петр Мартынович непонятное слово. — Да, ребята, вся причина в нем, в ночном метеоре. Химия тут ни при чем. А вот астрономии вы, надеюсь, изучали!

— Приходилось... — авторитетно отвечивал Антон.

— Так вот, ребята. В нашей части Вселенной, — Петр Мартынович покрутил пальцем в воздухе, — все происходит таким образом, что любой вид энергии переходит в тепло. Многие ученые даже предсказывали нам от этого тепловую смерть. Но я убежден, что во Вселенной есть такие места, где все происходит наоборот. Ну, подробностей я не знаю, может, там даже люди сначала умирают, а потом рождаются. Сложно все это, ребята. Тут даже моего образования мало, чтоб во всем разобраться. Но главное — вот что. У нас происходит так, что порядок со временем превращается в беспорядок. Ну, вот этот дом, например, когда-нибудь превратится в кучу битого кирпича. По-научному это называется повышением энтропии Вселенной. А я убежден, что в других местах эта самая энтропия наоборот уменьшается, там беспорядок переходит в порядок.

— Ну, у нас это не скоро будет, — сказал Антон.

— Да, к сожалению, — согласился Петр Мартынович. — Но вот сегодня ночью над городом пролетел метеор, ну, просто залетел к нам кусок того самого антимира. Скорее всего, он только скользнул по атмосфере и улетел дальше, иначе бы тут неизвестно какая катастрофа получилась. А так под его влиянием кое-где возник порядок — только и всего. Вот вчера и собирался у себя в шкафу книги прибрать, а сегодня просыпаюсь — там идеальный порядок: корешок к корешку, все по алфавиту.

— Эх, по алфавиту! — простонал Глотов. — Мне бы ваши заботы, а то ить автогеном прямо по кардану!

Глотов взывал и грозил кому-то кулаком. Никодимов курил, печально глядел на стропила и все яснее осознавал, что в милицию идти вряд ли стоит. Антон с умным видом поддакивал Петру Мартыновичу, а в душе ликовал: он давно уже смехнулся, что при такой ситуации шифер с никодимовской бани не бесследно исчез, а вернулся на склад, и его снова можно будет кому-нибудь загнать...

Содержание альманаха за 1982 год

Геннадий Емельянов. Слово о родной земле. № 2.

СТИХИ

КАКОЙ ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖИМ

Сергей Донбай. Поездка на БАМ. № 1.

Александр Ибрагимов. Алтайская записка. № 1.

Николай Колмогоров. «Как странно это...» Из юности. «Осенней бури краткие часы...» «Небожитель туманный...» «Полевые цветы и березы...» № 1.

Иван Полуни. «Весло покрылось инеем...» «Лежит листва» «Тишила занидевшая...» «Пока мы на ноги детишек ставили...» № 1.

Геннадий Юров. Встреча. № 1.

«ВЫПОРХНУЛА ПТИЦА...»

Алексей Куликов. «Выпорхнула птица из ветвей...» № 2.

Иван Мордовин. Детство. «Я доброте учился у природы...» После дождя. № 2.

Владимир Петраш. Бригадир. № 2.

Леонид Торгаев. Воспоминание о лете. Сын. № 2.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Владимир Соколов. «День убегает от меня...» «Бесполезно я руку поднял...» «Не спала...» № 2.

* * *

Сергей Донбай. Соцгород. Городской двор. № 4.

Александр Катков. Судьба. «...И никого, и снег стоит...» «Были бы живы мать и отец...» «Видел страны в их несказанной красе...» Дома. № 2.

Валерий Ковшов. Истоки. (Отрывок из поэмы) № 4.

Павел Майский. «Здесь, в городе...» «Мечтаю все поехать на Урал...» «Опускается за гору

солнышко...» «Стала речка серьезнее в осень...» «Дверь открою в сени...» № 3.

Владимир Матвеев. Дружеские щипки, юморески, детские стихи. № 2.

Валентин Махалов. Зазимье. «Живет на свете женщина...» Слаломист. На катке. «Соберу рюкзак походный...» Четверостишья. № 3.

Михаил Небогатов. Из военной тетради. № 3.

Геннадий Юров. Осень в Журавлях. № 3.

ПРОЗА

Екатерина Дубро. Сплошные вопросы. Маленькая повесть. № 2.

Геннадий Естамонов. Свое место. Повесть. № 4.

Валерий Зубарев. Стариковский эдем. Рассказ. № 3.

Владимир Коньков. В родительском доме. Рассказ. № 3.

Владимир Мазаев. Проездом. Сентиментальная повесть. № 1.

Виктор Моисеев. День, вырванный у горы. Рассказ. № 1.

Вадим Мокшеев. А помните... Рассказ. № 3.

Гарий Немченко. Два рассказа: Шашлык вприглядку. Живая жизнь. № 2.

Людмила Филаткина. Полоса неудач. Рассказ. № 3.

Виктор Чугунов. Дашенька. Рассказ. № 1.

Анатолий Ябров. Бабушка Апрося. Рассказ. № 2.

РАССКАЗЫ О ВОИНЕ

Афанасий Гуковский. Первый бой. № 2.

Раиса Шершнева. Рыжая Люся. № 2.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Павел Броницкий. Два рассказа. Древнее разума. Беспредельное счастье. № 3.

АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Александр Бабанин. Чистые родники. № 3.

Валерий Баранов. К вопросу о некоторых частных случаях... № 3.

Александр Легчило. Первая гроза. № 3.

Николай Скоров. В сплех сумерках. № 3.

ПРИТОМЫ

Творчество участников
областного семинара молодых литераторов

- Екатерина Андреевская. «Здесь ни даты...» Стихи. № 4.
Валерий Берсенев. Врыв. После взрыва. Стихи. № 4.
Евгений Богданов. Созрели вишни. Рассказ. № 4.
Николай Калинин. Предновогодний рейс. Рассказ. № 4.
Александр Катков. «Какая горечь — постыть... Это родина — синие ставни...» Стихи. № 4.
Виктор Корсунков. Грива. Рассказ. № 4.
Владислав Козюжко. Подлюби меня. Фантастический рассказ. № 4.
Сергей Побоккин. Скифы. Стихи. № 4.
Владимир Ширяев. Божия Дочь в общежитии. В подарок. Письмо инженеру Сергею Кожмонову, работающему на БАМе. Стихи. № 4.

НАШ СОВРЕМЕННИК

Николай Саминин. Пекатели. (Человеческие грани металла). № 3.

К 400-ЛЕТИЮ ВХОЖДЕНИЯ СИБИРИ В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Михаил Сорокин. На Томи реке. № 1.

ВРЕМЯ — ЛЮДИ — СУДЬБЫ

- Константин Андреев. Форшгадт. Быль. № 3.
Мари Кузнецова. Чалдонский корень. № 1.
Варвара Киселева. Перец. № 4.
Василий Сиволонов. А. Т. Твардовский: письма и встречи. № 1.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

- Геннадий Естамонов. Три сестры. № 1.
Нател Майский. Чашный десант. № 2.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

И. Дрейцер. «В мистическом единстве с природой». Финская мозаика. № 2.

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

Валентин Масленников. Уравнение со всеми известными. № 4.

К 70-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ВОЛОШИНА

Анатолий Шишкин. Все начинается с рассвета. № 3.

ЮБИЛЕИ НАШИХ ГОРОДОВ

Михаил Сорокин. Великий князь в Салаир не поедет. № 3.

О ПЕРВОЙ КНИГЕ МОЕГО ТОВАРИЩА

Владимир Матвеев. Серьез в шутилой опра-
ве. № 1.

СЛОВО — КРИТИКЕ

Лидия Гладковская. В зеркале женской души. № 2.

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

- Николай Карлагин. «Чтоб многое на свете полюбить...» № 4.
В. Откидач. Право на чудо. (О книге З. Естамоновой «Сотворение рябины»). № 2.

О ПОВЕСТИ МОЕГО ТОВАРИЩА

Геннадий Полицын. Заповедник детства. Заметки о повести Геннадия Естамонова «Здесь я живу». № 3.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

- М. Коротков. Метеор. № 4.
Бронислав Абрамов. Попутная машина. № 1.
Юрий Моренис. Вокруг Клеопатры (Опыт исторического рассказа). № 2.
Тамара Страхова. «Мишку мы назад приведем...» № 3.
Владимир Ширяев. Весеннее предложение. Баллада о теории относительности. Волки. № 1.

Наши авторы

Ковшов Валерий Васильевич. Родился в 1948 году в деревне Красный Ключ Кемеровской области.

Печатался в альманахе «Огни Кузбасса», в коллективном сборнике «Дыхание земли родимой».

Живет в Кемерове.

Естамонов Геннадий Акепсимович. Родился в 1937 году в городе Сковородино Амурской области. Окончил Кемеровский химико-механический техникум и Казанский химико-технологический институт.

Рассказы и повесть Геннадия Естамонова «Здесь я живу» напечатаны в альманахе «Огни Кузбасса».

Живет в Кемерове.

Корсуков Виктор Александрович. Родился в 1950 году в Чите. Окончил Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны им. 60-летия Великого Октября. Работает механиком радиосвязи.

Печатался в газетах.

Живет в Новокузнецке.

Ксионжек Владимир Христофорович. Родился в 1956 году. Окончил Днепрпетровский государственный университет. Работает в Сибирском металлургическом институте ассистентом кафедры физики.

Живет в Новокузнецке.

Кушникова Мэри Моисеевна. Родилась в Кишиневе. Окончила Дрогобычский педагогический институт и Черновицкий государственный университет. Публиковалась в периодических изданиях.

Живет в Кемерове.



**Анатолию Николаевичу
СРЫВЦЕВУ**

70 лет

Дорогой Анатолий Николаевич!

Писатели Кузбасса сердечно поздравляют Вас с Вашим юбилеем!

Вот уже полвека работаете Вы в литературе. Ваш творческий путь начался осенью 1932 года, когда в Киеве, в театре Красной Армии, исполнялась Ваша героическая оратория «Песни каторги и ссылки».

Ваша творческая и жизненная дорога совпала в основном с дорогой времени. Вы учились на центральных газетных курсах при ЦК ВКП(б), работали потом в газетах Таджикистана, Иркутска, Прибалтики. В канун Великой Отечественной войны стали членом партии, служили в грозную военную пору в частях Забайкальского фронта. После войны собственным корреспондентом «Известий» Вы снова приехали в Сибирь — теперь уже навсегда...

Ярче всего Ваш талант проявился в книгах, посвященных людям творчества. В них Вы рассказываете о сибирских писателях Николае Устиновиче, Павле Маляревском, Анатолии Ольхоне, Евгении Буравлеве и других. В Ваших книгах «Хозяйка сибирского тракта», «Шагал по земле человек», «Свидание», «Поэты с нами» читателя привлекает психологизм, точность и яркость художественных деталей, сочный живой язык.

Желаем Вам, дорогой Анатолий Николаевич, крепкого здоровья, новых радостей творчества!

Писатели Кузбасса



В. Кравчук. Индустриальный пейзаж.
Рисунок из серии «Кузбасс — край сибирский». Цветные карандаши.